Вторая партия

Ноктюрн для старой дачи

детективный роман



автор Елена Копс

Вторая партия

Елена Копс

Вторая партия. Ноктюрн для старой дачи

«Автор»
2026

Копс Е.

Вторая партия. Ноктюрн для старой дачи / Е. Копс — «Автор», 2026 — (Вторая партия)

Ноябрь в Липовых Горках под Тарусой — время сырых ветров, яблочного запаха и мерного стука дождя по железной крыше. Потеряв работу в столичном оркестре, альтистка Варвара приезжает на старую тётину дачу, надеясь найти тишину и передышку. Но вместо покоя её ждут протекающая мансарда, острая на язык тётя и молчаливый речной капитан Николай Рябинин, приехавший чинить крышу.Когда властная соседка — вдова академика Ираида Верещагина — загадочно намекает на скорое оглашение нового завещания, а наутро её находят мёртвой в запертой лимонной оранжерее, привычный уют дачного посёлка рушится. Местный врач списывает всё на сердце, но чашка остывшего чая с чабрецом — запахом, который покойная ненавидела тридцать лет, — указывает на тонко спланированное преступление.Варваре и Николаю предстоит распутать узел старых семейных грехов, дачных сплетен и давних музыкальных обид.«Ноктюрн для старой дачи» — атмосферный детективный роман, вторая книга из серии Вторая партия.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 16
Глава 3 31
Глава 4 46
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Елена Копс
Вторая партия. Ноктюрн для старой дачи

Глава 1

В электричке на Серпухов пахло мокрыми куртками и жареным луком, и Варвара, занявшая место у окна ещё на Курском вокзале, минут двадцать не могла понять, откуда берётся второй запах, пока не увидела, что напротив, на откидном столике, лежат два остывших беляша в промасленной бумаге, а над ними с серьёзным лицом сидит мужчина в камуфляжной куртке и решает сканворд. Беляши он, видимо, берёг на потом. Поезд тащился, останавливаясь у каждой платформы, и на каждой платформе под дождём стояли люди с вёдрами, пустыми рюкзаками и тележками на двух колёсах, как будто в первых числах ноября все разом вспомнили, что у них на даче что-то осталось: не то банки в погребе, не то кабачок, не то совесть.

Багаж у Варвары был такой: футляр с альтом, который она не выпускала из рук даже в туалете, дорожная сумка на колёсиках, у которой одно колесо вело себя независимо ещё с Чертанова, и клетчатая сумка из тех, с какими ездят на рынок, набитая нотами, шерстяными носками и трёхлитровой банкой солёных огурцов. Огурцы пришли к ней в конце октября по почте из Тарусы от Зинаиды Петровны, и под крышкой лежала бумажка: «Это угличские, но по-моему, плёсовские лучше, у Клавдии хрен покрепче. Ешь и не думай. З.П.». Варвара про огурцы как раз старалась не думать, потому что стоило открыть банку, как начинался Углич, потом Плёс, потом вся та неделя, и день после этого получался пропащий. Банку она везла тёте в подарок, и надо отдать ей должное, всю дорогу банка вела себя тихо.

Ехала она на дачу, в ноябре, с двумя сумками и альтом, потому что в Москве ей стало некуда идти. Оркестра больше не было. Фонд Маргариты Эдуардовны закрылся, равно как и говорила в Кинешме, и закрылся без речей и без последнего концерта: в первых числах октября на одиннадцать адресов пришло письмо, в котором очень вежливыми словами сообщалось, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Согласия никто не давал. Фёдор Кузьмич уехал к сестре в Новосибирск преподавать в детской школе искусств и прислал оттуда фотографию класса: двадцать детей с виолончельками и он посередине, огромный, в халате с драконами, который надел, видимо, из уважения к случаю. Лена с Ниной, держась друг за друга, попали в оркестр одного из столичных театров на одну ставку на двоих и уже ссорились, чья очередь сидеть у окна. Юлия прислала открытку из Вены, с видом на какой-то собор и тремя словами: «Играю. Спасибо вам». Стас с Кристиной и Олегом Витальевичем разошлись по свадьбам и корпоративам. Пряхин ждал суда. А Тамара, у которой в запасе всегда имелось несколько выходов из любого положения, играла теперь в квартете на банкетах, в чёрном платье и в туфлях, которые жали, и звонила каждый вечер: «Я держусь. Я буду держаться до Нового года, а там посмотрим».

Квартиру в Чертанове Варвара на зиму сдала двум студенткам-медичкам, которые обещали не вбивать гвозди и платить пятнадцатого числа. Ипотеку надо было как-то закрывать, пока в голове не было ни одного приглашения, а в телефоне были только Тамара, налоговая и реклама ортопедических матрасов. Сидеть в Москве с этой пустотой она не хотела. Тётя Эмилия Карловна позвонила в начале ноября, без всякого вступления, и сказала в трубку своим низким, чуть надтреснутым голосом: «Варвара, на даче в мансарде печка, а у меня в доме шесть комнат, в которых некому говорить». Это было самое длинное приглашение за всю их родственную историю. Варвара подумала двое суток и сказала да.

Телефон лежал в кармане куртки, тёплый от руки, и она, глядя в окно, в сотый раз за месяц достала его и открыла переписку, которая помещалась на одном экране. Выглядело это

так: «Дошла? Н.Р.» – «Дошла.» – «Свиридов звонил. Дело в суде. Вопросов к тебе нет.» – «Спасибо.» – «Как ты?» – «Нормально.» – «Хорошо.» Больше за шесть недель не было ни слова. Он не умел переписываться, она не умела спрашивать, и между этими двумя неумениями лежала вся Волга от Плёса до Нижнего. Саму Волгу она пыталась вспоминать по частям, а выходило только то, что осталось в руках: стальной термос, зелёная лампа, широкая ладонь с белым шрамом через тыльную сторону. Дальше был причал в Нижнем, утро, мокрый трап, на котором она сказала ему что-то про вторую партию, которая тоже бывает прекрасной, а он ответил, что хотел бы послушать первую. Отвечать оказалось нечем. Она кивнула и пошла к такси, и Зинаида Петровна, стоя у борта, укладывала в дорожную сумку возмущённого Боцмана, потому что на зиму кота решено было отправить к капитану, а Тамара, проходя мимо, шепнула ей в ухо: «Ну наконец-то». Про Савелия Исаевича она старалась не думать совсем. Не думать про то, как он спросил у двери мастерской «чаю хотите?», удавалось плохо, и с тех пор она не могла пить чай из термоса.

Мужчина с беляшами сложил сканворд, посмотрел на неё поверх очков и спросил:

– Не знаете, как называется индийский танец из шести букв?

– Не знаю, – сказала Варвара. – Я альтистка.

– Это не помогает, – сказал он, подумав.

– Нет, – согласилась она.

В Серпухове дождь перестал, но небо осталось низкое и серое, какое бывает на детских рисунках, когда ребёнок решил обойтись одним карандашом. На автовокзале пахло дизелем и пирожками с повидлом, а в окошке кассы сидела женщина в вязаной жилетке, которая, не поднимая головы, продала Варваре билет до Тарусы и сообщила, что автобус «стоит, но может и не пойти». Он пошёл. Это был жёлтый облупленный ПАЗик с тёмными занавесками и надписью «Не прислоняться» на боковой двери, в которую все прислонялись, и внутри на сиденьях, обтянутых клеёнкой, сидело пять человек: две женщины с кошёлками, подросток в наушниках, мужик с огромной пилой, завёрнутой в мешковину, и старик в ушанке, который, как только Варвара вошла, достал из-за пазухи яблоко и принялся его есть прямо с кожурой, ни на кого не глядя, как едят люди, привыкшие к тому, что за яблоки никто не осудит.

Водитель, невысокий, лысый, с усами, закрывавшими половину лица, помог ей втащить сумку и сказал «ага», что на языке автобусных водителей означает и «здравствуйте», и «осторожно, ступенька», и «не опирайтесь на поручень, он отваливается». Дорога тянулась полями, потом лесом, потом опять полями, и за окном шли друг за другом картины, на первый взгляд одинаковые, а при долгом взгляде разные: стог под плёнкой, остановка с нарисованным сердцем, ржавый комбайн в кювете, церковь без крыши с берёзой, выросшей прямо из купола. Дождь то начинался, то переставал. Варвара прижимала футляр к коленям, смотрела, как капли ползут по стеклу и сливаются, и ни о чём в особенности не думала. Это было состояние, которое она освоила только за последнюю неделю: не думать подолгу и без усилия.

За двадцать минут до Тарусы дорога вышла на гребень, и справа, внизу, вдруг открылась широкая тёмная излучина, обведённая жёлтым и бурым. Река лежала медленная, свинцовая, спокойная, по берегам стояли голые леса, а на самом высоком холме белела церковь с одной колокольней. Старик в ушанке перестал жевать и тоже посмотрел.

– Красота, – сказал он без выражения.

– Красота, – согласилась Варвара.

– Пятьдесят лет езжу и каждый раз удивляюсь. Вам куда?

– В Липовые Горки.

– Это водитель знает, – сказал старик. – Он у магазина остановит. Магазин закрыт, но остановка есть.

Остановка, и правда, была. Бетонный козырёк с пятнами сырости, жестяное расписание, на котором уцелели только цифры «6.40» и «18.15», и позади, за дорогой, магазин с зареше-

чёнными окнами и вывеской «Продукты», у двери которого сидела кошка и мыла лапой ухо. Автобус фыркнул и уехал, и Варвара осталась одна посреди тишины, в которой не было ни одного звука, кроме стекающей с крыши воды и далёкого, мерного, почти музыкального постукивания, похожего на метроном: кто-то на другом конце посёлка колол дрова.

Улица Липовых Горок оказалась песчаной дорогой между двумя рядами заборов, по которой, видимо, не ездили со времён последней грозы. В колеях стояли лужи, в лужах плавали жёлтые листья, и каждый забор был не такой, как соседний: сплошной, деревянный, высокий, с острыми зубьями вверху; штакетник, покосившийся от старости; сетка-рабица, увитая сухим хмелем; низкая каменная ограда с чугунными воротами и львом на одном столбе, у которого от сырости облупился нос. За заборами стояли дома, и каждый был сам по себе, в своём возрасте и в своей болезни: резные терема с мезонинами, рубленые избы, кирпичные коробки девяностых, домик, целиком обшитый вагонкой цвета незрелого лимона. На некоторых воротах висели таблички с фамилиями, и она читала их на ходу, как читают корешки книг: «Бродские», «Д. А. Гринберг, профессор», «Здесь живёт Нина Печорская, прошу не стучать до двенадцати».

Колёсико у сумки продержалось метров четыреста. Потом оно, видимо, решило, что с него достаточно, и отвалилось с мягким, почти деликатным щелчком, и сумка осела набок, зарывшись углом в песок. Варвара постояла над ней, подняла глаза к небу, как человек, которого предали, и сказала вслух:

– Спасибо.

Небо ничего не ответило. Она взялась за ручку сумки, забросила на плечо клетчатую, нащупала подбородком футляр, и в эту минуту у неё за спиной раздалось скрипучее, мерное, колёсное: кто-то катил по песку тачку. Она обернулась.

Мужчина лет пятидесяти пяти, крупный, широкий, в стёганой жилетке поверх клетчатой рубахи и в резиновых сапогах до колен, толкал перед собой одноколёсную тачку, нагруженную до краёв мокрыми листьями и какими-то пучками сухих стеблей. Лицо у него было красное, обветренное, с короткой седой щетиной, глаза маленькие, спокойные и очень светлые, а руки такие, что сумка в них должна была бы выглядеть игрушечной. Он остановился, оглядел Варвару, её багаж, отвалившееся колесо, которое лежало в луже, как оторванная пуговица, и сказал:

– К Эмилии Карловне?

– К ней.

– Давайте.

Это было всё. Он молча подхватил сумку и клетчатый мешок, как поднимают котят, и сложил их прямо поверх листьев. Футляр с альтом она придержала сама, и он кивнул, словно так и надо было. Потом поднял ручки тачки и пошёл вперёд, по самой середине колеи, не разбирая луж, и Варвара пошла за ним, глядя на широкую спину и на колесо тачки, которое поскрипывало на каждом обороте на одной и той же ноте, чуть ниже фа.

– Листья не мешают, – сказал он минут через пять, не оборачиваясь. – Они чистые. С яблони.

– Я не возражаю.

– Я так сказал. Чтоб вы не думали.

Они прошли мимо каменной ограды со львом, и он, не замедляя шага, показал подбородком вправо. Над забором, высоким, глухим, обитым сверху ржавым железом, поднимались вершины сосен, а чуть правее, над ними, поблёскивала в сером свете большая стеклянная крыша с белыми рёбрами: не то огромный парник, не то зимний сад.

– Верещагиных оранжерея, – сказал он. – Ираиды Львовны. Я у них работаю. Пятнадцать лет. Вы к ней близко не подходите, она не любит.

– Чего не любит?

– Чужих. – Он подумал. – Она вообще никого не любит, но справедливая.

Дальше он не говорил. Улица кончилась, дорога вильнула влево и упёрлась в овраг, заросший бурьяном и ольхой, и на самом краю, перед оврагом, стоял дом, при виде которого Варвара остановилась, а потом пошла дальше, потому что ничего другого делать не оставалось.

Дача была двухэтажная, деревянная, когда-то зелёная, а теперь облезшая до серого, с белыми резными наличниками и застеклённой верандой, в верхних рамах которой красные, синие и жёлтые квадратики ловили то немногое, что осталось от дня, и делали вид, что в доме горит свет. На крыше торчала мансардная башенка с флюгером в виде петуха, который давно застрял на юго-западе и больше не интересовался ветром. Вокруг росли яблони, старые, голые, чёрные от сырости, и под ними на мокрой траве лежали упавшие яблоки, раскисшие, в бурых пятнах, и густой, кисловатый, чуть бродящий запах чувствовался уже от калитки. На калитке висела жестяная табличка, выведенная белой краской от руки: «Осторожно, злая собака». Из-за калитки на скрип дороги отзывалось что-то тонкое, истеричное, звенящее, как будильник, который уронили в кастрюлю.

– Бемоль, – сказала Варвара. – Я тебя слышу.

Лай оборвался. Через секунду под калиткой, в щели между штакетинами, показался чёрный блестящий нос, потом глаз, потом два длинных уха, и вся эта конструкция, вместе с туловищем таксы и короткой невероятно довольной задницей, протиснулась на улицу вопреки всем законам физики и бросилась Варваре на ботинки. Он визжал, давился, вертелся вокруг собственной оси, в паузах между приступами счастья смотрел на неё с таким укором, что она присела на корточки, не выпуская футляра, и сказала:

– Прости. Я думала, на две недели. Вышло два месяца. Но я здесь.

Бемоль ответил длинной нотой, в которой было и «наконец-то», и «ты мне ещё ответишь», и взобрался ей на колени, как будто хотел убедиться, что она настоящая. Он жил у тёти с первого сентября: Эмилия Карловна забрала его в день отъезда прямо с вокзала, сказав, что собаке нужен воздух. Оказалось, воздух был нужен самой тёте, но выяснилось это не сразу.

Человек с тачкой поставил сумки на землю у калитки, постоял, глядя на таксу.

– Он вас с утра ждал, – сказал он. – Сидел у забора. Эмилия Карловна его звала, а он ни в какую.

– Спасибо вам.

– Ефим, – сказал он и, кивнув, развернул тачку и пошёл обратно по колее, и колесо его скрипело на той же ноте, ниже фа, пока не ушло за поворот.

– Ты похудела, – сказал голос с веранды. – Это неприлично.

Варвара подняла голову. На ступеньках, в дверном проёме, стояла Эмилия Карловна Штерн, и со времени их последней встречи, то есть с московского вокзала, она, кажется, не изменилась вовсе: высокая, тонкая, прямая, как метроном, с короткой серебряной стрижкой под мальчика и лицом, на котором каждая морщина была заработана и не имела права на отставку. На ней была мужская серая кофта до колен, длинная чёрная юбка и вязаные рейтузы, заправленные в старые фетровые боты, а в пальцах длинный чёрный мундштук с тонкой сигаретой, из которой поднималась прямая синяя струйка. Врач разрешил ей две в день, и Эмилия Карловна считала, что две в день это до обеда.

– Здравствуй, тётя, – сказала Варвара.

– Здравствуй. Вставай с колен, ты не на похоронах. Покажи руки.

Варвара встала, и Бемоль скатился с неё, как с горки. Подошла, протянула руки ладонями вверх, потом, поняв, перевернула. Тётя взяла их в свои, жёсткие, холодные, с длинными пальцами пианистки, повернула к свету, посмотрела на каждый ноготь, прощупала подушечки, помяла косточки на запястье, как мнут тесто.

– Мозоли хорошие, – сказала она. – Ногти не грызёшь. Значит, не всё потеряно. Что в сумке?

– Огурцы. От Зинаиды Петровны.

– Это та, что с пирожками?

– Да.

– Умная женщина. Пойдёт. – Эмилия Карловна отпустила её руки и посмотрела на неё с головы до пят уже совсем другим взглядом, пристальным, внимательным, из тех, от которых у Варвары с детства подгибались колени. – Волосы нужно подстричь. Ты ходишь, как будто последний раз в парикмахерской была при Брежневе. Иди в дом, я там затопила.

Весь первый вечер Варвара потом вспоминала как один длинный коридор, по которому её вели за руку, и в котором всё было не очень светло и очень знакомо, потому что пахло детством. На веранде стоял стол, накрытый клеёнкой в мелкий цветочек, плетёные кресла с подушками, на которых давно выцвели розы, и на подоконнике, среди банок с геранями, стоял старый патефон с жёлтой трубой, из которой торчала сложенная в трубочку газета. Дальше начиналась гостиная, и в ней мебель была в белых холщовых чехлах, как будто на зиму дом собрался уехать, хотя жить в нём собирались именно зимой: два кресла, диван, стулья вокруг круглого стола, и каждый чехол был завязан на тесёмки аккуратными бантиками. Посреди комнаты высилась голландская печь, облицованная сине-белыми изразцами с парусниками, и от неё шло ровное, плотное, сухое тепло. В углу у окна стояло пианино, чёрное, с резными подсвечниками и кружевной дорожкой на крышке, а на дорожке в серебряных рамках стояли фотографии. Варвара подошла, не снимая куртки.

На одной была молодая женщина лет двадцати пяти, с гладкими волосами, в длинном вечернем платье, сидящая за огромным роялем в каком-то большом зале; даже на выцветшем фото было видно, как у неё прямо стоит спина и как кисти лежат над клавишами, как две птицы, готовые вспорхнуть. На другой та же женщина, уже старше, стояла на лестнице этой самой дачи, а рядом с ней сидел на ступеньке маленький мальчик с лопоухими ушами и тем самым носом, который Варвара узнала бы и в темноте. «Это папа», – подумала она и тут же, как обычно, подивилась тому, как странно думать о собственном отце ребёнком.

– Он был ужасный, – сказала тётя за её спиной. – Лез на яблони, ломал ветки, один раз упал и сломал руку, и всё лето ходил в гипсе и жаловался, что ему нечем играть. Ты в него. Не в смысле яблонь, а в смысле жалоб.

– Я не жалуюсь.

– Конечно. Ты просто молчишь так, что слышно через стену.

На высоком комоде в углу стоял в кадке огромный фикус, лоснящийся, с крупными тёмными листьями, и на кадке была приклеена бумажка с надписью «Адольф Борисович». Эмилия Карловна проследила за её взглядом и сказала без тени смущения, что фикус двадцать лет молчит и поэтому достоин уважения, а что имя ему дала она сама, потому что ему подходит.

– А где Фуга?

– Не называй при мне её этим именем, пока не поздороваешься с ней как следует. Она обидчивая.

Фуга оказалась рыжей кошкой, огромной, пушистой, одноглазой, с надменным квадратным лицом и обвисшими щеками, которая сидела на подоконнике в кухне, на самом тёплом месте, возле плиты, и смотрела на мир единственным зелёным глазом с таким презрением, что у людей, не привыкших к кошачьему обществу, пропадало желание разговаривать. Когда Варвара вошла, кошка не шелохнулась. Когда следом за ней в дверь, победно виляя хвостом, ввалился Бемоль, она вдруг встала на всех четырёх лапах, выгнула спину дугой, распушила хвост до размера ёршика для бутылок и издала звук, какого Варвара за всю свою жизнь не слышала ни от одного живого существа: что-то среднее между шипением чайника и протяжным минорным аккордом на расстроенном органе.

Бемоль остановился. Ушастая башка склонилась набок.

– Они уже познакомились, – сказала тётя, наливая воду в чайник. – В сентябре. Результат отрицательный.

– Он её не тронул?

– Он, видишь ли, провёл первые три дня, лая на неё с пола, пока она сидела на холодильнике. Она провела три дня, глядя на него сверху. Потом они выработали соглашение. Он не заходит на кухню без разрешения, она не спускается в прихожую после семи.

– Кто установил границы?

– Я. – Эмилия Карловна поставила чайник на плиту. – Я человек справедливый.

Бемоль в этот момент, не слушая переговоров, как ни в чём не бывало прошёл между ног у обеих, сунул нос под плиту, выволок оттуда старый шерстяной носок и гордо вышел из кухни, неся его в зубах, как кубок. Фуга проводила его зелёным глазом, не меняя позы. Спина у неё медленно опустилась.

– Война объявлена, – сказала тётя, и это был голос человека, который находил в происходящем несомненное удовольствие.

Ужинали на кухне, потому что на кухне теплее. Кухня была маленькая, с низким потолком, обшитым вагонкой, выкрашенной когда-то в голубой цвет, со столом, застеленным клеёнкой в клетку, с буфетом, на полках которого стояли банки, жестянки и несколько фарфоровых чашек с отбитыми ручками. Плита была старая, с чугунными конфорками, и на ней в двух кастрюлях доходили щи и картошка, а в духовке, откуда тянуло запахом, от которого у Варвары заныло под ложечкой, румянился пирог.

Пирог был яблочный, с антоновкой, высокий, с решёткой из теста и тёмной корочкой, на которой в трещинах выступил сахар. Эмилия Карловна вынула его щипцами, поставила на деревянную доску, накрыла полотенцем и сказала, что режут его только через четверть часа, потому что иначе он плачет. Эти пятнадцать минут они провели в разговоре, которого Варвара боялась все полтора часа от Серпухова.

– Ну, – сказала тётя, наливая в чашки крепкий чёрный чай из большого чайника с отбитым носиком. – Рассказывай.

– Что?

– Всё. Начиная с места, где тебя в последний раз видели живой.

– Тётя.

– Я читала в газете, – сказала Эмилия Карловна, и мундштук в её пальцах остановился на половине пути. – «Дирижёр Соколовский найден мёртвым на пристани в Плёсе». Через неделю: «Подозреваемым оказался пожилой настройщик оркестра». Не такая уж я старая, чтобы не умела читать между строк. В газете не было сказано, что тебя чуть не арестовали, но ты мне сама сказала по телефону, что «всё обошлось». Когда человек говорит «всё обошлось» таким голосом, значит, обходилось долго.

– Меня не арестовали.

– Знаю. Благодаря капитану.

Варвара подняла глаза. Тётя смотрела на неё прямо, и на лице у неё не было ни одной лишней эмоции, только острое внимательное ожидание.

– Откуда ты знаешь про капитана?

– Мне Зинаида Петровна написала, – сказала Эмилия Карловна. – Мы с ней переписываемся. Она пишет очень толково, хотя и с ошибками. У неё в каждой строчке по пирожку. Я поначалу думала, что она хочет у меня рецепт шарлотки выпытать, а потом поняла, что она просто одинокая и рассказывает всё по порядку, как в дневнике. Она мне и про кота написала, и про журнал, и про то, как он при всех записал, что ты у него на мостике сидела. – Тётя наконец затянулась. – Я человек старый, но не слепая. Мужчина, который в первый раз в жизни соврал в официальном документе ради женщины, которую знает три дня, это либо дурак, либо хороший человек. А дураков Зинаида Петровна не описывает, она их жалеет.

– Тётя, мы не...

– Я не спрашиваю, что вы. Я спрашиваю, что с тобой.

Это было сказано так просто, что Варвара вдруг почувствовала, как у неё что-то сжимается в горле, и посмотрела на пирог. Бемоль, устроившийся под столом на её ботинках, вздохнул и положил подбородок на лапы.

– Не знаю, – сказала она. – Я тут уже не как музыкант и не как женщина. Как просто. Как человек, которому некуда идти.

– Тебе есть куда идти.

– Сюда.

– Именно. – Эмилия Карловна стряхнула пепел в блюдце. – Это, кстати, неплохой адрес. Печка, яблоки, бесплатная собачья компания и тётка, с которой не соскучишься. Я не уговариваю. Я констатирую.

Они помолчали. На плите потрескивали щи, и в окне над мойкой темнело, медленно и густо, как темнеет всегда в ноябре, когда день не заканчивается, а просто перестаёт.

– Правила, – сказала тётя, разрезая пирог на крупные неровные куски. – Первое: после десяти вечера не играть, потому что я сплю чутко. Второе: до восьми утра не звонить, не будить, не разговаривать, потому что я не человек до первой чашки. Третье: по четвергам у меня преферанс, и ты в это время или играешь, или тихо сидишь с книгой, но не мешаешь людям думать. Четвёртое: в карты не проигрывать больше, чем у тебя есть. Пятое: на печку не ставить мокрые вещи, а то Адольф Борисович обидится, он этого не любит.

– Он тоже участвует?

– Он дом чувствует. Ешь.

Пирог оказался таким, каким бывает только он: чуть кислый, чуть сладкий, с горячей влажной яблочной начинкой, которая растекалась по тарелке тонким тёмным соком, и с корочкой, которая хрустела под ножом. Варвара ела молча и чувствовала, как с каждым куском в ней отпускает какая-то пружина, о существовании которой она не подозревала. Тётя смотрела на неё с лёгким удовлетворением, но ничего не говорила. Бемоль, не выдержав, встал на задние лапы и положил передние на край стула, всем видом показывая, что и он здесь не лишний, и Эмилия Карловна, вздохнув, отломила ему кусочек корки.

– Нельзя, – сказала Варвара.

– Одному можно. Он голодает, – объяснила тётя, и Варвара подумала, что собака за эти два месяца не просто не голодала, а, судя по животу, достигла предела, но спорить не стала.

В половине шестого, когда за окном уже стояла синяя вязкая темнота, а на плите остывала кастрюля, у калитки хлопнуло, и по дорожке к дому пошли чьи-то шаги, лёгкие, быстрые, мелкие. Бемоль вылетел из-под стола, как пробка, и разразился лаем, в котором слышался весь его сентябрьский опыт. Эмилия Карловна вынула мундштук изо рта и сказала:

– Это не по расписанию.

В дверь постучали, мягко, вежливо, два раза.

– Входите, Лариса, – сказала тётя, не вставая и не повышая голоса, и Варвара поняла, что она узнала гостью по шагам.

Дверь открылась, и вместе с влажным ноябрьским воздухом в кухню вошла женщина лет шестидесяти, невысокая, полноватая, в длинном сером пальто и вязаной шапочке, из-под которой выбивались седые, аккуратно подстриженные волосы. Лицо у неё было круглое, приятное, чуть розовое с холода, с тонкими губами, которые, казалось, всегда готовы были улыбнуться, и с очень внимательными тёмными глазами за очками в тонкой металлической оправе, висевшими на цепочке. В руках она держала банку, завёрнутую в салфетку, и кулёк с чем-то, и Бемоль, обнюхав подол её пальто, неожиданно вильнул хвостом и сел, как дрессированный.

– Эмилия Карловна, – сказала она мягким, глубоким голосом, в котором каждое слово было округлым и аккуратно выложенным, как яйцо в корзине. – Простите, что без звонка. Я

видела свет, видела, как Ефим провёз сумки, и подумала, что у вас гостья. Я на одну минуточку. Принесла вам мёда. Нынешнего, липового, с Ираиды Львовны пасеки, она мне отлила литр, а я столько не съем. И пирожков с капустой.

– Спасибо, Лариса, – сказала тётя. – Знакомьтесь. Моя племянница, Варвара.

– Варвара Сергеевна, – сказала женщина, поворачиваясь к ней, и лицо у неё осветилось чем-то, похожим на настоящую радость. – Я так рада. Лариса Ковалёва, я здесь по соседству, через два участка. Эмилия Карловна так много о вас рассказывала.

– Я рассказывала мало, – вставила тётя.

– Вы рассказывали мало, но с такой интонацией, что у меня сложилась целая картина, – сказала Лариса и засмеялась. – Это профессиональное. Я пишу людей, и от меня никуда не денешься, простите.

– Пишете?

– Мемуары. Воспоминания. Книги о том, как мы жили: «Дачные годы», «Липовые Горки: летопись». Может быть, слышали. Нет? И слава Богу, я не обижаюсь, меня читают в основном соседи и несколько библиотек. – Она сняла шапку, и седые волосы улеглись ровно. – Мне, наверное, лучше сказать сразу, чтобы не получилось неловкости. Я читала в газетах про ваш круиз. Про Плёс. Про Аркадия Львовича. Мне очень жаль. Я не хочу быть бестактной, но если когда-нибудь вам захочется поговорить, у меня всегда горит лампа и стоит чайник. Я человек молчаливый, когда надо.

Варвара почувствовала, как у неё чуть напряглись плечи, и сама удивилась тому, что напряглись они не от слов, а от этого мягкого, ровного, предельно правильного голоса, в котором ни одно слово не споткнулось, не вильнуло, не замешкалось. Голос был очень хороший. Именно такой, какой бывает у людей, много говоривших вслух о том, что они чувствуют. Ей показалось, что она слышит ровный, высокий, тщательно выверенный тембр какого-то диктора, и тут же, как обычно, она отогнала эту мысль: нельзя же подозревать в фальши человека, который принёс мёд.

– Спасибо, – сказала она. – Присаживайтесь, чаю?

– Ни в коем случае. Я только занесу и уйду, а то вы с дороги. – Лариса поставила банку на стол, и от неё в кухню пошёл тёплый густой запах, не только мёда, но и чего-то ещё, сухого, травяного, незнакомого, какой бывает в кармане у человека, который много ходит по саду. – Если что-нибудь нужно, я рядом. И, Эмилия Карловна, вы помните, что в воскресенье у Ираиды Львовны чаепитие? Она просила передать, что ждёт и вашу племянницу. Это огромная честь, она редко зовёт новых людей.

– Я не собиралась, – сказала тётя.

– Она настаивала. – Лариса улыбнулась так мягко, что отказать ей казалось невозможным. – Она, мне кажется, очень соскучилась по людям. Просто не умеет сказать.

Она ещё раз кивнула Варваре, наклонилась, потрепала Бемоля по длинному уху, сказала что-то ласковое про его глаза и вышла в темноту. Дверь закрылась. На дорожке послышались её лёгкие шаги, потом скрипнула калитка, и всё стихло.

Эмилия Карловна вставила в мундштук новую сигарету, закурила, выпустила дым и некоторое время молча смотрела на закрытую дверь.

– Ну? – спросила Варвара.

– Что ну?

– Ты на неё смотришь, как на неправильно выписанный счёт.

– Она очень милая, – сказала тётя ровным тоном, в котором вдруг проступило что-то сухое и чуть насмешливое. – Лариса Ковалёва, шесть лет в посёлке. Приехала с мужем, который умер на второй год. Купила участок у Бродских, перестроила веранду, написала три книжки про то, как мы тут живём. Пирожки носит, мёд носит, внимательная, участливая, добрая. А

знает она про Липовые Горки больше, чем я, хотя я здесь с пятьдесят девятого года, с двенадцати лет, когда мне на этом крыльце купили первые ботинки. Этого я понять не могу.

– Может, она просто интересуется.

– Может быть. – Эмилия Карловна стряхнула пепел в блюдце. – У меня в голове этого не помещается: человек шесть лет в посёлке, а будто его с рождения слушает. Но я старая, у меня с годами вредность. Ешь пирожки, они хорошие. С капустой.

Пирожки действительно были хорошие, мягкие, чуть подгоревшие по краю, и Варвара съела один, и поймала себя на том, что ей немного неловко за собственную подозрительность.

Вечер тянулся, как тянутся вечера в деревне, неторопливо и без событий. Они перенесли банку с огурцами в погреб, который оказался вовсе не погребом, а глубоким чуланом под лестницей, где пахло землёй и квашеной капустой. Эмилия Карловна показала ей вещи, нужные для жизни: где лежат дрова, как открывается заслонка, где выключатель на втором этаже, который работает только если нажать дважды. Показала ванную, где колонка включалась с четвёртого раза и с хлопком, от которого вздрагивал дом. Показала шкаф с одеялами, пахнущий нафталином, и сундук с плюшевыми покрывалами, и полку с нотами, на которую Варвара смотрела с минуту и не решилась тронуть. Бемоль ходил за ними по пятам, а Фуга сидела на лестнице, свесив хвост, и каждый раз, когда собака подходила ближе, чем на два метра, издавала короткий гортанный звук, вроде кашля.

К восьми часам дождь начался опять, на этот раз ровный, плотный, неторопливый, какой в ноябре идёт без перерыва по несколько суток, и по крыше застучала знакомая дробь, чуть выше нижнего фа. В гостиной Эмилия Карловна открыла заслонку, подбросила в печь два полена, и в трубе что-то загудело. Потом она вдруг сказала:

– Я должна тебе объяснить соседей.

– Каких соседей?

– Ты их узнаешь. У нас посёлок маленький, но с характером. Налево от нас, через дорогу, Гринберги, профессор с женой, они глухие, но очень добрые. Направо, за оврагом, Печорская, актриса на пенсии, она по утрам распевается, не обращай внимания. Через два участка Лариса, ты видела. А прямо за нашим забором, – тётя кивнула в сторону окна, за которым в темноте угадывались чёрные сосны и над ними светлая прямоугольная полоса, – Ираида Львовна Верещагина.

– Вдова академика, – сказала Варвара. – Ефим говорил.

– Ты уже с Ефимом разговаривала?

– Он донёс сумки.

– Это он умеет, – сказала Эмилия Карловна. – Ираида живёт тут с сорок восьмого года. Муж её, Георгий Алексеевич, химик, академик, умер в девяносто втором. Дом большой, сад огромный, оранжерея. У неё лимоны, представляешь? Лимоны на Оке. Она их выращивает пятьдесят лет, и каждый год в феврале у неё цветут и пахнут так, что слышно через забор.

– Вы дружите?

– Мы не разговариваем тридцать лет. С девяносто четвертого

– Из-за чего?

– Из-за сирени, – сказала Эмилия Карловна совершенно серьёзно. – Это официальная версия.

– А неофициальная?

– Тоже из-за сирени, только другой. – Тётя посмотрела на огонь в печи. – Мы обе были пианистками. Я училась у Нейгауза, она у Гольденвейзера, мы вместе выступали в здешнем клубе на каждом первом концерте сезона. В девяносто втором она сыграла Шопена без очереди, а я должна была играть первой. Она сказала, что перепутала. Я сказала, что она сделала нарочно. После этого мы не разговаривали. Это достаточно прилично, чтобы показаться причиной.

Варвара смотрела на её профиль, на прямую, неподвижную линию подбородка, на мундштук, застывший в воздухе, и не верила ни одному слову. Нейгауз давно умер, Гольденвейзер ещё раньше, и ни одной «сирени» в этом рассказе не было, но верить в него тётя явно не собиралась.

– Она позвала меня на чаепитие, – сказала Варвара. – Через Ларису. В воскресенье.

– Я слышала.

– Ты пойдёшь?

– Нет.

– А я?

– Ты решай сама, – сказала Эмилия Карловна. – Но, если пойдёшь, обрати внимание на одну вещь. Ираида Львовна не пьёт чай с чабрецом. Никогда. Если подадут чабрец, не пей. Это, возможно, пустяки. Но я человек старый, и у меня привычка предупреждать.

– Почему?

– Потому что ей он не нравится.

Это прозвучало слишком легко, слишком небрежно, как бросают в пустую воду маленький камешек, чтобы проверить глубину. Варвара открыла рот, чтобы спросить, но тётя уже встала, одёрнула кофту и сказала обычным тоном:

– Идём, я покажу твою комнату.

Мансарда оказалась просторнее, чем Варвара ожидала. Узкая крутая лестница, на которой надо было нагибаться на повороте, чтобы не стукнуться о балку, выводила в длинную комнату с наклонными стенами, обшитыми светлой вагонкой, с круглым окном в торце, из которого был виден весь сад, и одним высоким в боковой стене. У стены стояла железная кровать с шишечками, застеленная пёстрым лоскутным одеялом, рядом тумбочка с керосиновой лампой, хотя электричество работало, письменный стол, заваленный чьими-то старыми журналами, шкаф со скрипучей дверцей и маленькая чугунная печка-буржуйка, которая уже тихо потрескивала. Над кроватью, на скате крыши, висела пожелтевшая афиша с готическим шрифтом: «Э. Штерн. Фортепианный вечер. Малый зал. 1974».

Посреди комнаты стояло ведро.

– Это что? – спросила Варвара.

– Это крыша, – сказала тётя. – Она течёт вот сюда, над кроватью. Когда дождь сильный, я ставлю ведро. В последний месяц ведро ставилось часто.

– Тётя, это нехорошо.

– Это нормально, – сказала Эмилия Карловна. – Это старый дом. Ты положишь голову с другой стороны. Я вызвала мастера.

– Какого мастера?

– Хорошего. Мне порекомендовали. Он приедет в субботу.

– Тётя, я не...

– Это уже не твоя забота. – Эмилия Карловна поправила одеяло, придвинула ведро чуть правее, туда, где с потолка уже срывалась первая капля, и вышла, не дожидаясь ответа. На лестнице послышался стук её фетровых ботов и затем нижний голос, обращённый к кому-то, наверное, к Фуге: «Не смей. Это моя племянница».

Варвара осталась одна. Она подошла к круглому окну и отдёрнула занавеску.

Сад лежал внизу, чёрный, мокрый, неподвижный, и только где-то в его глубине, за яблонями, за оврагом, за невидимым забором, в темноте висело ровное светлое пятно, мягкое, золотистое, будто кто-то поставил на землю огромную лампу под стеклянным колпаком. Оранжерея. Тёплый жёлтый свет сочился сквозь запотевшие стёкла и растекался по ночному воздуху, и в нём шёл дождь, тонкий, косой, каждая капля чётко видна. Над оранжереей стояли чёрные сосны, а под ними, в гуще света, угадывалась неподвижная фигура: не то стул, не то кресло, не то просто тень. Варвара постояла, глядя, и поняла, что ей нравится эта картина,

нравится по-детски, без причины: чужое окно, чужая жизнь, чьё-то тёплое, живое присутствие в большой темноте.

Не то чтобы она ожидала увидеть там что-нибудь особенное. Просто старая женщина, у которой лимоны, не спит, и сидит с книгой.

Она достала из футляра альт и подержала его на коленях, не играя. Потом положила обратно. Развернула клетчатую сумку, вынула свитера, сложила в шкаф, вынула ноты, положила на стол, поверх старых журналов. Достала зубную щётку, пижаму, носки, запасные струны. Печка дышала теплом, ведро звенело под каплей мерно, как метроном, чуть ниже ре, и с этой нотой было как-то уютно, по-домашнему, как с работающей машиной на теплоходе. Она поймала себя на том, что считает капли, и поняла, что это не метроном, а просто самая обычная дача, в которой всё течёт и скрипит, и что в первый раз за последние два месяца она не чувствует ни тревоги, ни пустоты, а только усталость, тихую и добрую.

Телефон, лежавший на тумбочке, коротко дрогнул и засветился. Она повернула его к себе и прочла с экрана, на котором стояло только имя без фотографии, как он, наверное, записан был у всех:

«Н. Рябинин. Эмилия Карловна звонила. Говорит, крыша. В субботу буду. Н.Р.»

Варвара прочитала сообщение два раза. Потом села на кровать, на лоскутное одеяло, под которым что-то хрустнуло, и некоторое время просто держала телефон в руках, как держат тёплую чашку. С первого этажа доносилось тихое мурлыканье патефона, и сквозь шорох иглы пробивался чей-то немолодой, хрипловатый голос, что-то давно забытое, довоенное, про осень и про то, что всё пройдёт. Тётя, очевидно, не считала нужным спешить с правилами насчёт десяти часов для самой себя.

– «Звонила», – сказала Варвара вслух, тихо, обращаясь к ведру. – Значит, «мастера порекомендовали».

Ведро ответило каплей.

Она положила телефон, потом взяла его снова, быстро набрала ответ и стёрла, потом набрала другой и тоже стёрла, потом написала просто: «Крыша течёт над кроватью. Привози ведро побольше», и нажала отправить, не дав себе времени передумать. Экран мигнул. Через полминуты на нём возникли три слова: «Привезу. И лестницу.»

Она засмеялась, коротко, в кулак, чтобы не услышали внизу. Потом выключила лампу, легла с той стороны кровати, с которой велела тётя, натянула лоскутное одеяло до подбородка и долго лежала, слушая дождь, патефон, капли в ведре и далёкий, неразличимый, ровный гул, в котором, как ей казалось, шёл тот же счёт: раз, два, три, четыре, без единой ошибки.

Глава 2

Четыре дня на даче прошли так, как проходят первые дни в чужом доме, даже если дом чужой не совсем: Варвара училась, какая ступенька на лестнице скрипит, как выключается свет на втором этаже (нажать дважды и подержать), в котором часу колонка в ванной просыпается и в котором засыпает, и что с Фугой нельзя встречаться глазами в коридоре после семи вечера. В четверг к тёте пришли играть в преферанс Гринберги, профессор с женой, оба глухие и оба в вязаных жилетках одного узора. Варвара два часа просидела в углу с нотами, которых не читала, слушая, как Эмилия Карловна, не повышая голоса, объявляет «шесть пик», а профессор переспрашивает «что?» тем голосом, каким переспрашивают из соседнего вагона, и как жена повторяет то же самое ещё громче, всякий раз с оттенком обиды. К одиннадцати все разошлись. Ведро в мансарде за это время наполнялось и опорожнялось, она давно носила его вниз по крутой лестнице, придерживая локтем балку на повороте, и не расплёскивала, как не расплёскивает воду человек, поживший в доме не четыре дня, а лет десять.

В субботу дождь кончился в начале седьмого. Варвара поняла это по тому, что ведро перестало звонить: капли ещё срывались с потолка, но реже, и звук у них стал глухой, как будто кто-то ронял в воду по горошине. Полежала, прислушиваясь, потом села, спустила ноги на пол и нащупала носки. Буржуйка догорела ещё в два, мансарда за ночь выстыла так, что дыхание шло белым облачком, а ведро стояло полное до краёв, с лёгкой дрожью на поверхности, и пронести его вниз по лестнице без потерь было задачей, над которой Варвара размышляла дольше, чем над любой аппликатурой.

На кухне уже горел свет. Эмилия Карловна стояла у окна в мужской серой кофте до колен, спиной к двери, и варила кофе в маленькой медной турке с длинной ручкой, которую держала над синим огоньком конфорки двумя пальцами, как держат пробирку. Сигареты в мундштуке ещё не было. До первой чашки тётя была не человек, это правило Варвара усвоила во вторник вечером, и до восьми часов утра полагалось молчать, что в доме, где живут две женщины, собака и кошка, давалось легче, чем можно было подумать. Варвара поставила ведро в раковину и осторожно наклонила, и вода пошла в слив ровной жёлтой струёй, пахнущей ржавчиной и старым деревом. Тётя, не оборачиваясь, подняла брови и скосила глаза к потолку, что означало: сколько. Варвара показала два пальца. Тётя кивнула, достала с полки чашку, налила в неё кофе, густой, чёрный, с шапкой коричневой пены, и подвинула ближе к краю стола. Потом, продолжая смотреть в окно, отрезала кусок вчерашнего пирога, положила на блюдце и подвинула тоже.

Бемоль лежал под столом, свернувшись бубликом, и сквозь сон время от времени постукивал хвостом по полу, видимо, отвечая кому-то в своём собачьем видении. Фуга сидела на холодильнике, как на постаменте, и смотрела на Варвару единственным зелёным глазом с тем выражением, с каким председатель комиссии смотрит на просителя, чья бумага не в порядке. Варвара пила кофе и смотрела на неё в ответ и в какой-то момент поняла, что у них идёт молчаливый разговор, в котором кошка выигрывает.

В восемь часов в гостиной ударили настенные часы, старые, с гирьками на цепочках и жестяной птицей, которая каждый раз вываливалась из дверцы с таким усилием, будто ей приходилось пробивать себе путь через снег. Тётя поставила турку на плиту, повернулась и посмотрела на Варвару с прежним внимательным лицом, но уже живым.

– Он приедет к десяти, – сказала она.

– Откуда ты знаешь?

– Я ему сказала в четверг: к десяти. Мужчины приезжают в то время, которое им назвали, если назвали достаточно твёрдо. Они любят, когда им говорят, куда и когда. В этом их главная слабость и главное достоинство.

– Тётя, ты ему звонила.

– Я его пригласила починить крышу. Это разные вещи. – Эмилия Карловна достала из кармана кофты мундштук и тонкую чёрную сигарету, вставила, прикурила от конфорки, наклонившись так низко, что Варвара испугалась за серебряную стрижку, и выпустила в потолок прямую синюю струю. – Не смотри так. У меня течёт крыша. Если на то пошло, она течёт с сентября, и я за это время вызывала троих мастеров, один из которых оказался в запое, а двое просто не приехали. А Зинаида Петровна писала, что есть один человек, который в трудную минуту делает то, что нужно, и не рассказывает об этом. Я подумала: вот такой мне и нужен.

– Ты манипулируешь.

– Я организую. Ешь пирог.

Телефон в кармане джинсов завибрировал ровно в одну минуту девятого, как будто его владелец сидел и смотрел на часы. Варвара вышла в прихожую, прикрыв за собой дверь, и приложила трубку к уху.

– Я не звонила до восьми, – сказала Тамара без всяких вступлений. – Это называется выдержка. Это стоило мне бессонной ночи. Ну?

– Что ну?

– Приедет?

– К десяти.

– Что ты наденешь?

– Свитер.

– Какой?

– Серый.

– Варя, – сказала Тамара голосом человека, которому сообщили, что в его машине закончился бензин посреди кукурузного поля. – Серый. Ты в нём выглядишь как человек, у которого сломался лифт. Надень что-нибудь цветное, у тебя было красное, я тебе подарила на день рождения, с вырезом лодочкой.

– Оно в Москве.

– Оно в твоей сумке, я лично видела, как ты его складывала.

– Тома, я на даче.

– И что, на даче нельзя быть красивой? – Тамара помолчала. – Хорошо, а голубой? Хотя бы голубой.

Варвара посмотрела на себя в зеркало над вешалкой: бледная, с тёмными кругами, с волосами, которые после Нижнего упрямо росли куда хотели. Тётя была права, нужно было подстричься, и подстрижётся она на этой неделе, а сегодня пусть будет как есть.

– Я тебе перезвоню, – сказала она и отключилась.

В мансарде она переодевалась три раза. Сначала надела серый свитер, потому что он был надет вчера, и поняла, что в нём правда похожа на человека, у которого сломался лифт. Потом нашла в шкафу голубой, посмотрела и стянула через голову: голубой делал глаза какими-то детскими. Потом достала со дна сумки то самое красное, с вырезом лодочкой, которое Тамара подарила ей в июне, натянула, посмотрела на себя в круглое окно, в котором отражалась вся комната и она сама на фоне ведра, и поняла, что человек, надевший красное платье-свитер для того, чтобы мужчина чинил ей крышу, выглядит как существо, потерявшее представление о приличиях. Серый вернулся на плечи через минуту. Она завязала волосы резинкой, спустилась вниз и встретила тётю в дверях кухни.

– Серый тебе идёт, – сказала Эмилия Карловна. – Но зачем ты в нём сутулишься?

– Я не сутулюсь.

– Ты сутулишься с утра. Поставь плечи.

Варвара поставила. Тётя оглядела её, как оглядывают книгу перед тем, как поставить на полку, и ничего не сказала, но уголок рта у неё чуть дёрнулся.

Машина показалась на улице в десять минут десятого, и услышала её первой не Варвара, а Бемоль. Он сорвался с места так внезапно, что чуть не сшиб ножку стола, влетел на веранду и принялся бросаться на стекло, захлёбываясь лаем в таком диапазоне, что Фуга на холодильнике открыла и второй глаз, вернее, ту пустую складку, где он когда-то был. Варвара подошла к окну, отогнула занавеску и увидела старую зелёную «Ниву» с облупленными порогами и погнутым зеркалом, которая медленно, переваливаясь по колее, как ходит по скользкому льду крупное животное, ползла по улице. На крыше у неё, закреплённая верёвками, лежала алюминиевая лестница, из багажника торчал свёрнутый рулон какого-то чёрного материала, а сквозь заднее стекло просматривалась картонная коробка и сумка с инструментами.

Машина остановилась у калитки. Мотор заглох. С минуту ничего не происходило, потом дверца открылась, и из неё вылез Николай Андреевич.

Она не видела его шесть недель, и ей показалось, что за это время он изменился, хотя изменился он на самом деле только тем, что был теперь в тёмной брезентовой куртке с вытертыми локтями, в рабочих штанах и в чёрной вязаной шапке вместо фуражки. Без кителя и без нашивок он выглядел проще и как-то крупнее, как выглядят люди, с которых сняли форму и оставили одного человека. Он постоял у машины, оглядывая забор и дом, и взгляд его, скользнув по крыше, остановился на круглом окне мансарды, где, спрятавшись за занавеской, стояла Варвара. Не то чтобы он её увидел. Она на всякий случай отступила на шаг.

– Я пойду, – сказала она в пустую комнату.

– Никуда ты не пойдёшь, – ответила тётя, возникая за её плечом. – Ты останешься здесь, потому что я первая выхожу к гостям. Это моё право.

– Тётя, не надо.

– Что не надо?

– Ты знаешь.

Но Эмилия Карловна уже спускалась по лестнице, в фетровых ботах, прямая, с мундштуком, как адмирал, выходящий к построению. Варвара кинулась следом, но застряла на повороте, где опять стукнулась о балку, и когда выскочила на веранду, тётя была уже у калитки.

Они стояли друг против друга на разных сторонах забора: высокая прямая старуха и высокий широкоплечий мужчина в шапке, с руками, опущенными вдоль тела, как у школьника у доски. Бемоль скакал вокруг, захлёбывался лаем, потом вдруг, видимо, учуяв что-то знакомое, перестал, сел и склонил набок длинное ухо.

– Николай Андреевич, – сказала Эмилия Карловна.

– Эмилия Карловна.

– Вы выше, чем на фотографии.

– Какой фотографии?

– Зинаида Петровна присылала. Вы там сидели в рубке, спиной, но я определила по затылку. – Она протянула вперёд ладонь. – Покажите руки.

Он молча снял перчатки, сунул их в карман и протянул ей обе ладони, повернув сначала вверх, потом, без подсказки, вниз. Тётя взяла их в свои, как накануне брала Варварины, и некоторое время изучала: пальцы, ногти, подушечки, шрам на тыльной стороне левой. Один раз надавила большим пальцем на самую жёсткую мозоль у основания указательного и подняла брови.

– Канаты?

– И штурвал.

– Годятся, – сказала Эмилия Карловна и выпустила его руки, как выпускают проверенную вещь. – Здоровайтесь, вы же знакомы.

Это «вы же знакомы» было сказано с таким невинным видом, что Варвара, стоявшая на ступеньках веранды в сером свитере, поняла: всё это время Эмилия Карловна прекрасно знала, где она стоит, и с каким лицом, и чего ей стоило сюда выйти. Спустилась на дорожку, прошла

несколько шагов по мокрому песку и остановилась по эту сторону калитки, на полшага дальше, чем рассчитывала.

– Здравствуй, – сказала она.

– Здравствуй, – ответил Николай Андреевич.

Они посмотрели друг на друга. У него глаза были те же, серые, спокойные, с усталой тенью, только теперь в них не отражалась зелёная лампа, а отражалось небо, мокрое и белёсое, и в этом свете он выглядел на несколько лет моложе. Она подумала, что надо сказать что-нибудь простое, вроде «долго ехал?» или «дорога тяжёлая», но простое никуда не годилось, потому что всё, что ей хотелось спросить, было непростым. Он, судя по выражению лица, думал о том же самом.

– Течёт? – спросил он наконец.

– Над кроватью.

– Покажи.

И они оба с таким облегчением ухватились за слово «течёт», что тётя, наблюдавшая за ними с невозмутимостью шахматиста, чуть заметно кашлянула в кулак.

– А это кто? – спросила она, глядя поверх плеча Николая Андреевича.

Варвара тоже посмотрела. В окне «Нивы», на пассажирском сиденье, прижавшись носом к стеклу и растопырив усы, сидел огромный серый кот с обломанным левым ухом и смотрел на происходящее с видом хозяина, которого забыли пригласить к столу.

– Боцман, – сказала Варвара.

Кот в машине моргнул.

– Это судовой кот, – сказал Николай Андреевич. – Зимой при мне. Он не любит оставаться один в доме, а в Тарусе у меня дом от матери, там ему скучно. Я подумал, что...

– Он знает, что вы подумали?

– Он сам сел.

– Пусть выходит, – сказала Эмилия Карловна. – Но с Фугой знакомится сам. Это вопрос приличия. Я за него не отвечаю.

Николай Андреевич открыл пассажирскую дверцу, и Боцман, помедлив ровно столько, сколько требовало его достоинство, спустился на землю, встряхнул передними лапами, как встряхивает рукавами человек, выбравшийся из тесного кителя, и пошёл вдоль забора неторопливо, останавливаясь, чтобы обнюхать каждый куст. Бемоль, который, казалось, должен был немедленно броситься на него, вместо этого лёг на брюхо и положил морду на лапы, и Варвара, знавшая собачий характер лучше, чем собственный, поняла, что такса перед кем-то капитулировала сразу и без боя.

Из багажника достали сначала коробку, а потом лестницу, и пока Николай Андреевич снимал верёвки, тётя заглянула в картонную коробку, сдвинула полотенце и принюхалась.

– Это что?

– Зинаида Петровна, – сказал Николай Андреевич. – Велела передать.

Внутри лежали аккуратные ряды пирожков, ещё тёплых, с вишней, налимом, капустой, яйцом, и сверху, придавленная банкой малинового варенья, записка. Эмилия Карловна развернула её, прочитала, шевеля губами, и в её лице что-то на мгновение смягчилось, но она тут же вернула ему прежнюю строгость.

– «Не кормите его слишком, он тогда ленивый, и не кормите слишком мало, он тогда сердитый», – прочла она вслух. – «Пирожки с вишней отдайте Варе, у неё нервы». Ну и ну. Заботливая особа.

Варвара почувствовала, что краснеет, и подумала, что краснеть в двадцать минут десятого утра из-за пирожков, пожалуй, перебор даже для человека, у которого нервы.

Мансарда оказалась для него маловата. Он нагнулся при входе, прошёл по комнате, всё равно задевая плечом наклонную стену, и остановился посередине, между кроватью и ведром,

огромный, тёмный, в брезентовой куртке, от которой пахло дождём и немного бензином. Варвара вошла следом и остановилась в дверях, не зная, где ей быть: комната вдруг уменьшилась ещё на половину. Он поднял голову и стал смотреть на потолок.

На скате над кроватью темнело пятно, коричневое, разлапистое, с желтоватой каймой, и от него вниз по доскам тянулись две тонкие светлые полоски, оставленные водой. Он провёл пальцем вдоль одной и поднёс палец к лицу, и она вдруг подумала, что он нюхает воду, как нюхают реку перед тем, как войти, и это почему-то тронуло её.

– Давно? – спросил он.

– С сентября. Тётя говорит.

– А ты?

– Со вторника.

– Это Эмилия Карловна, – сказал он, не оборачиваясь, – сказала мне про ведро.

– Это я написала.

– Ты написала «побольше».

– Я не знаю, какой величины должно быть ведро для такого потолка.

– Этого никто не знает. – Он ещё раз провёл ладонью по доске, потом отошёл к круглому окну, посмотрел наружу, на сад, на мокрые яблони, на кусок серой, чуть светлеющей крыши. – Труба.

– Что труба?

– Печная. Видишь, где она выходит? Вот здесь идёт воротник, называется разделка, железный. Он проржавел, и вода по трубе течёт внутрь. – Он показал пальцем в потолок, туда, где из чёрной закопчённой дыры выходила жестяная труба буржуйки. – Нужно менять воротник и проверить два листа рядом. Часа три. Если найду, из чего.

– Ты привёз рулон.

– Это рубероид. На железо нужен лист, оцинкованный, и мастика. – Он замолчал. – У тётки сарай есть?

– Есть. Я не заглядывала.

– Посмотрим.

Он повернулся к кровати. Железная, с шишечками, застеленная лоскутным одеялом, она стояла в самом центре злосчастного пятна, как мишень, и ведро торчало рядом, как напоминание. Николай Андреевич посмотрел на кровать, потом на афишу над ней, где готическими буквами значилось «Э. Штерн. Фортепианный вечер», потом снова на кровать, и Варвара с ужасом увидела, что уши у него, под шапкой, начинают медленно, едва заметно краснеть.

– Я потом передвину, – сказала она торопливо.

– Нет. – Он кашлянул. – Я про то, что... А где ты спишь?

– С той стороны.

– С той.

– Тётя велела.

– Правильно, – сказал он, глядя куда-то в сторону лампы.

Наступила пауза, в которой громко капнуло в ведро. Потом он сделал шаг к двери, и им пришлось разойтись боком, касаясь друг друга рукавами, как расходятся в узком проходе, и Варвара почувствовала, что воздух вокруг него густой и тёплый, пахнет дождём, табаком, которого он, как выяснилось, не курил, и железом.

– Я пойду смотреть сарай, – сказал он с лестницы.

– Иди, – сказала она.

Сарай оказался длинным, дощатым, набитым старым хламом, который копился лет сорок: пустые бутылки в ящиках, дырявые вёдра, сломанные лыжи, чьё-то колесо от детской коляски, горы журналов, связанных верёвками. Но в самой глубине, у задней стены, нашлись две банки битумной мастики, почти не початые, и стопка листов оцинкованной жести, правда,

ржавых по краям. Николай Андреевич вертел их в руках, пробовал на изгиб, качал головой и что-то себе под нос подсчитывал, когда у калитки заскрипело, и в проёме показалась знакомая широкая фигура с тачкой.

Ефим катил перед собой свою вчерашнюю скрипучую тачку, на этот раз пустую, если не считать одного листа гладкой серебристой оцинковки, лежавшего поверх решётки, и остановился, не доходя двух шагов до человека в брезентовой куртке. Они постояли, глядя друг на друга с тем сдержанным вниманием, с каким смотрят две крупные собаки, выясняя, в какой последовательности здороваться.

– Лист, – сказал Ефим.

– Что лист?

– У меня остался. После оранжереи. Хороший, свежий. Тут, говорят, труба.

– Труба, – подтвердил Николай Андреевич.

– Вам хватит. – Ефим опустил ручки тачки, взял лист обеими руками и протянул, как протягивают хлеб. – Ираида Львовна сказала: если мастер хороший, пусть потом глянет в оранжерее раму. Стекло в верхней фрамуге треснуло, дует. Я один не справлюсь, там высоко.

– Она откуда про мастера знает?

– Видела. Через забор. Она всё видит.

Он сказал это без всякого выражения, и Варвара, стоявшая на пороге сарая, вздрогнула, хотя не смогла бы объяснить почему. Ей вспомнилось круглое окно мансарды, сад в темноте, жёлтый свет под стеклянным колпаком и неподвижная тень в кресле.

– Передайте, – сказал Николай Андреевич, – что посмотрю.

– Спасибо. – Ефим кивнул, развернул тачку, но, сделав два шага, остановился и добавил, не оборачиваясь: – Чай завтра, в четыре. Она просила передать, что ждёт и вас. Обоих.

И пошёл прочь, и колесо скрипело на той же ноте, чуть ниже фа.

– Я не пойду, – сказала Эмилия Карловна, возникшая на веранде как из-под земли.

– Он уже передал, – сказал Николай Андреевич, не глядя на неё.

– Это не значит, что я приняла.

– Он и не просил.

– Он просил молча, это хуже. – Тётя вставила мундштук в рот и закрыла дверь, и Варвара услышала через стекло, как внутри Бемоль, получив, видимо, неверную команду, залаял вслед за ней, не зная, на кого.

К одиннадцати Николай Андреевич уже был на крыше.

Лестница стояла у боковой стены, там, где яблоня росла так близко к дому, что её нижние ветви скребли по железу, и он поднялся по ней без видимого усилия, как поднимаются люди, привыкшие к трапам и вантам. Варвара следила снизу, вытянув шею, пока не заметила, что стоит посреди двора с открытым ртом, и тогда нарочито повернулась и пошла к веранде, чтобы подтвердить самой себе, что у неё есть дела. Дел не оказалось. Бемоль, видя её растерянность, потащил из дома тапок и положил к её ногам. Она взяла тапок, постояла с ним, потом села на ступеньки веранды и стала смотреть, как над головой, на крыше, происходит работа.

Крыша у дачи была железная, крашенная когда-то в зелёный, а теперь больше ржавая, чем зелёная, с острым скатом и мансардной башенкой в середине, и на этой башенке, на высоте метров в семь, ходил человек. Он ходил осторожно, пригнувшись, ставя ногу на гребни, а не на плоскости, и ни разу не посмотрел вниз. Ловко сорвал старый воротник у трубы, спустил его на верёвке в ведро, потом принялся измерять, отрезать, подгибать оцинкованный лист, ножницами по металлу, которые щёлкали, как челюсти, и каждый щелчок отдавался в тихом, промытом воздухе звонким эхом. Вскоре оказалось, что нужно сменить ещё два листа рядом с трубой, потому что и они проржавели насквозь, и звук ножниц сменился на стук молотка, ритмичный, плотный, чуть тупой от резиновых шайб.

Тучи в это время начали редеть. Сначала на востоке, над оврагом, побелело, потом в белом проступила блёклая голубизна, потом через неё пробился неяркий жёлтый луч и лёг на крышу широкой косой полосой, и мокрое железо вспыхнуло. Над садом поднялся пар. Яблоки в траве показались вдруг ярче, чем были, и воздух стал сладким от запаха прелой листвы и тёплого металла.

Николай Андреевич выпрямился, огляделся, снял шапку, провёл ладонью по волосам, постоял так секунду. Потом стянул брезентовую куртку и бросил её на гребень, где она осталась лежать неподвижной тёмной кучей. Под ней оказался серый шерстяной свитер, крупной вязки, вытянутый на локтях, и когда он, видимо, тоже почувствовав жар, взялся за подол и потянул его вверх, Варвара с ужасом поняла, что делает это он сейчас, перед всей улицей.

Она отвернулась. Не успела: взгляд сам вернулся и увидел обычную мужскую спину, широкую, чуть сутулую от лет, проведённых над картами, под тонкой выцветшей футболкой, и руки, которые поднимали молоток так, будто он ничего не весил. Левая, с белым шрамом через тыльную сторону, лежала на скате, прижимая лист. Правая била.

– Сейчас, – сказала тётя за её спиной.

Эмилия Карловна стояла в дверях веранды, прямая, с мундштуком, глядя на крышу с невозмутимостью ревизора.

– Что сейчас?

– Начнётся.

– Что начнётся?

– Посмотришь.

Первой на улице появилась Нина Печорская. Варвара узнала её сразу, хотя прежде не видела: слишком уж вся она соответствовала описанию. Невысокая, сухая, в светло-сиреневом пальто с воротником из чего-то пушистого, в шляпе с пером и в туфлях на каблучках, по которым шла по мокрому песку с такой осанкой, будто двигалась по ковровой дорожке к выходу на сцену. Она двигалась от дальнего конца улицы в сторону оврага, то есть в сторону тупика, где кроме их дачи и бурьяна ничего не было, и приблизившись к забору, остановилась, подняла к глазам лорнет на длинной ручке и принялась рассматривать... овраг. Рассматривала она его минуты три, поворачивая голову то вправо, то влево, как это делают люди перед картиной, потом вздохнула и, видимо, найдя недостаточно, перенесла лорнет повыше. Туда, где на фоне белёсого неба двигался тёмный силуэт.

– Нина Георгиевна, – негромко сказала Эмилия Карловна. – Мы вас приветствуем.

– Эмилия! – отозвалась Печорская с неожиданной бодростью, как будто они только что расстались у соседней калитки. – Как раз гуляла, дышала. Воздух сегодня, я вам скажу, просто бальзам. Я нынче решила пройтись до оврага, посмотреть, какая ольха.

– Какая?

– Мокрая.

– Это важно?

– Для общей картины, – сказала Печорская величественно. – А это у вас кто, мастер?

– Это мастер, – согласилась тётя. – Судоводитель. Он по совместительству чинит крыши.

– По совместительству, – повторила Печорская, не опуская лорнета. – Какая прелесть. Всё в наши дни по совместительству.

Она простояла ещё минуту, потом, не переставая улыбаться, повернулась и пошла обратно с тем же достоинством, только теперь её каблучки, как показалось Варваре, постукивали чаще, и она два раза оглянулась на ходу.

– Один, – сказала Эмилия Карловна.

– Что один?

– Первая. Всего их будет пять или шесть, смотря по погоде. Они приходят в порядке старшинства, потому что в нашем посёлке даже любопытство подчиняется табелю о рангах.

Сначала Нина, она старше всех. Потом Софья Яковлевна Гринберг. Потом Лариса. Остальные как придётся.

– Тётя, это же тупик.

– Именно. Здесь больше нечего смотреть, кроме оврага. Нина Георгиевна смотрит на овраг пятый год и ни разу его не видела, пока не пришёл мужчина с лестницей. – Она затянулась. – Сегодня у меня второй, до обеда. Позволю себе.

Софья Яковлевна Гринберг показалась минут через двадцать. Она была маленькая, круглая, в вязаной жилетке под пуховиком, с короткими седыми кудрями и с кастрюлькой, завёрнутой в клетчатое полотенце, которую несла перед собой, как несут иконы. Подходя к калитке, она подняла лицо к крыше, прищурилась от солнца и заговорила тем голосом, каким привыкла разговаривать с мужем, не слыша ни его, ни себя:

– ЭМИЛИЯ! Я ПРИНЕСЛА ВАМ БУЛЬОНУ! ГРИШЕНЬКА ВЧЕРА ВАРИЛ, ТАК МНОГО ВЫШЛО!

Голос её перелетел через забор, ударился о стену дома и вернулся, и на крыше молоток на секунду замер.

– Спасибо, Софья Яковлевна, – сказала тётя, не повышая тона.

– ЧТО? – крикнула Софья Яковлевна.

– СПАСИБО!

– А ВАШ МАСТЕР ТАКОЙ ВЫСОКИЙ! ОН У ВАС НА КРЫШЕ! ПРЯМО КАК СВЕЧКА!

Варвара, сидевшая на ступеньках, с таким отчаянием закрыла лицо руками, что Бемоль, встревожившись, подполз и положил голову ей на колени.

– ОН СЕМЕЙНЫЙ? – продолжала Софья Яковлевна, подойдя вплотную к калитке и вытянув шею.

– ОН ВДОВЕЦ! – крикнула тётя в ответ, не выдержав, и Варвара услышала, как на крыше молоток после паузы, очень медленно и осторожно, ударил один раз.

– ВДОВЕЦ! – обрадовалась Софья Яковлевна. – ТОГДА ЭТО ХОРОШО! У НАС НА ТОМ КОНЦЕ ЕСТЬ ОДНА ЖЕНЩИНА, НО ОНА СЕЙЧАС ЗА ГРАНИЦЕЙ!

– ЭТО НЕ ПОВОД, – сказала Эмилия Карловна.

– ЧТО?

– НИЧЕГО! СПАСИБО ЗА БУЛЬОН!

Софья Яковлевна поставила кастрюльку на столб калитки, ещё раз посмотрела вверх, помахала рукой в никуда и пошла прочь, кивая и улыбаясь, а Варвара, не открывая лица, сказала в ладони:

– Я хочу, чтобы меня сейчас забрали на небо.

– Рано, – сказала тётя. – У нас ещё Лариса.

Лариса Ковалёва пришла в двенадцатом часу, и она была единственной из всех, кто не делал вид, будто идёт в овраг. Она шла по улице уверенно, прямо к калитке, в том же сером пальто, с вязаной сумкой через плечо, и в руках у неё было большое блюдо, накрытое салфеткой, от которого на всю улицу тянуло горячей капустой. Лицо у неё было свежее, розовое, дружелюбное, и когда она заговорила, голос полился такой мягкий и ровный, что даже на крыше, кажется, перестали стучать.

– Эмилия Карловна, Варвара Сергеевна, – сказала она. – Я с пирожками. Подумала, что человеку на высоте нужны силы, а в такой день никто не накормит. Я не хотела мешать, оставлю и сразу уйду.

– Мастера кормит Зинаида Петровна, – сказала тётя. – У нас пирожки уже есть. Из Тарусы.

– Тогда пусть будут ещё. Много не бывает. – Лариса засмеялась, и смех у неё получился тёплый, округлый, как всё остальное. Она подняла голову к крыше, приложила ладонь козырь-

ком ко лбу и стала смотреть. Минуту молчала. Потом, не повернувшись, спросила тихо: – Простите за любопытство, но это не тот ли капитан, из вашего круиза? Про которого писали?

Варвара подняла голову. Вопрос был задан спокойно, участливо, без тени ехидства, но она почувствовала, как что-то в ней напряглось, и поняла, что это то же самое чувство, что и вчера вечером: слух, который слышит, где фраза чуть слишком красива. Про капитана в газетах не писали. В газетах писали про Соколовского, про Пряхина, потом про старика-настройщика, потом ничего. Про капитана было в пересказе Зинаиды Петровны, а Зинаида Петровна писала только Эмилии Карловне.

– Какого круиза? – переспросила тётя.

– Я просто подумала, что слышала фамилию. Рябинин, кажется, – сказала Лариса. – Я читаю вырезки, у меня привычка. В «Областной газете» было интервью с кем-то из команды. Про то, что капитан не покинул судно. Может быть, перепутала. Старая голова, много в ней всего.

– Может быть, – сказала Эмилия Карловна без выражения.

– Я не буду мешать, – сказала Лариса, ставя блюдо на столб рядом с кастрюлькой, и улыбнулась обеим. – Варвара Сергеевна, если захотите зайти на чай, у меня тепло, а я всегда рада.

Она ушла, тоже не торопясь и тётя проводила её взглядом, в котором не было ничего, кроме спокойного, внимательного, чуть холодного интереса.

– В «Областной газете», – сказала она негромко.

– Тётя, не начинай.

– Я не начинаю. Я констатирую. – Она посмотрела на Варвару. – Ты ведь тоже услышала.

– Не знаю, что я услышала.

– Это ничего, – сказала Эмилия Карловна. – Услышишь потом.

За Ларисой прошла ещё женщина в красной куртке с рыжей собакой, три раза туда и обратно, потом пожилая женщина в платке с пустой авоськой, ни на кого не глядевшая, потом двое подростков на великах, которые, пролетев мимо в обе стороны, громко и безнадёжно шептались о чём-то, и один из них, на втором заходе, поднял голову к крыше и присвистнул. Тётя, не сходя с веранды, сосчитала: «Шестая, седьмая, девятая, это мальчишки, их не считаем», и записала что-то карандашом на обороте старой квитанции.

– Ты ведёшь учёт, – сказала Варвара.

– Статистика, – ответила Эмилия Карловна. – В такой маленькой общине это единственная форма разведки.

Над головой в это время работа подходила к концу. Николай Андреевич последними ударами пристучал края нового воротника, промазал швы чёрной мастикой из банки, придавил, разгладил, постоял над законченным местом, отвёл взгляд, оценил, перекинул ногу через гребень и начал спускаться. Когда он подошёл по двору, лицо у него было красное от ветра и работы, на скулах блестел пот, футболка прилипла к спине, а на руках темнели пятна мастики. Он сразу, без слов, подошёл к бочке с дождевой водой, стоявшей у угла, зачерпнул ковшом, умылся, потом, поморщившись, начал оттирать руки куском старого мыла, которое тут же откуда-то взялось на подоконнике. Варвара смотрела на его мокрую шею и вдруг поняла, что всё это время сидит с каменным лицом и держит в руках тапок.

– Всё, – сказал он. – Воротник новый, два листа сменил. Если дождь, то посмотрим.

– Спасибо, – сказала Варвара.

– Не за что.

– Обедать, – объявила Эмилия Карловна. – Все в дом.

Обед накрыли на кухне. Тётя достала скатерть, старую, льняную, с вышитыми по краям васильками, постелила её поверх клетчатой клеёнки, что по её меркам означало высший класс приёма, и поставила на стол всё, что было в доме: щи с сметаной, картошку с укропом, солёные огурцы, нарезанный толстыми ломтями холодец, чугунок с гречкой и грибами, и по краям, как

на параде, пирожки из Тарусы. Огурцы Варвара узнала сразу, угличские, и вспомнила банку, которую вчера пронесла через Серпухов. Фуга не стала спускаться со своего холодильника, но через минуту издала горловой звук, в котором слышалась претензия.

– Садитесь, Николай Андреевич, – сказала Эмилия Карловна. – Сюда. Спиной к печке, вам надо согреться.

Он сел. Табуретка под ним скрипнула, и в маленькой кухне вдруг стало тесно, как бывает, когда в комнату вносят шкаф. Варвара села напротив, как села бы на эшафот, и Бемоль под столом немедленно устроился на её ботинках. Боцман, пробравшийся, видимо, через открытую дверь, сидел на пороге и осматривал помещение с видом инспектора, а Фуга на холодильнике подобрала хвост и прищурила единственный глаз.

Тётя налила щей в глубокую тарелку и поставила перед ним. Потом отступила на шаг и сложила руки на груди.

– Ешьте, – сказала она.

Он взял ложку, понюхал, начал есть. Ел он спокойно, аккуратно, не торопясь, как едят люди, привыкшие к тому, что за столом на судне надо уметь успевать и не мешать, но видно было, что щи ему нравятся: на третьей ложке у него чуть приподнялись брови. Эмилия Карловна подождала, пока он доест половину, и сказала:

– Скажите, Николай Андреевич, вы человек женатый?

Ложка замерла на полпути.

– Вдовец, – сказал он.

– Сколько лет?

– Восемь.

– Печально. А вам?

– Сорок восемь.

– Здоровье?

– Хорошее.

– Жильё?

– Каюта. И дом в Тарусе, от матери.

– Дети?

– Дочь. Двадцать лет.

– Курите?

– Нет.

– Пьёте?

– Чай.

– Вы пьёте чай из кружки без ручки, – сказала Эмилия Карловна. – Зинаида Петровна писала. Двадцать лет. Это настораживает: либо вы экономны, либо сентиментальны.

– Привычка, – сказал Николай Андреевич.

– Привычка бывает вредной. – Тётя помолчала. – Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь проводить зиму?

– Тётя, – сказала Варвара.

– Не перебивай, – сказала Эмилия Карловна. – Это не допрос. Допрос был в Плёсе. Это знакомство.

Николай Андреевич положил ложку на край тарелки. Он смотрел на скатерть, на вышитые васильки, на руки, на пятно мастики на большом пальце, которое не оттёрлось, и ничего не говорил. Стенные часы в гостиной тикали громко, на всю кухню, и в какой-то момент стало слышно, как жестяная птица в них, готовясь к своему выходу, скребёт когтями по дверце.

– Я задала вопрос, – сказала Эмилия Карловна.

Он взял кусок хлеба, отломил, положил в рот, прожевал. Бемоль под столом вздохнул. Боцман на пороге зажмурил глаза с таким видом, будто присутствовал при чём-то, чего ему не следовало видеть.

– Тётя, пожалуйста, – сказала Варвара.

– Я не заканчиваю. Я начинаю. – Эмилия Карловна подошла ближе и села на край табурета, положила мундштук на блюдце, и вся её поза, прямая, чуть подавшаяся вперёд, напомнила Варваре вечер в Большом зале, где она в детстве видела, как тётя стоит у рояля перед первой нотой. – Я человек старый. У меня нет времени ходить вокруг да около. Племянница у меня одна. Я её вырастила, можно сказать, наполовину, потому что отец её был занят музыкой, мать работой, а я приезжала по субботам и учила её не горбиться. Она умная, добрая, колючая, иногда глупая и, на мой вкус, слишком много молчит. Потеряла работу, оркестр, мужа, хотя мужа, по-моему, не жалко. Приехала ко мне в ноябре с одним футляром. А через четыре дня у меня на дворе стоит мужчина, который, как мне пишут, ради неё в первый раз в жизни соврал в официальном документе. Мне хотелось бы знать, каковы ваши намерения.

Варвара почувствовала, как у неё горят уши, шея, щёки, как горит весь череп под волосами, и поняла, что есть пределы стыда, которых ей ещё не доводилось достигать. Рука сама потянулась к чашке, чашка стукнулась о блюдце, чай плеснул через край, и она, не зная, что делать, налила его на блюдце, потом попыталась его выпить оттуда и обожглась.

– Мне надо проверить ведро, – сказала она.

– Сидеть, – сказала тётя.

– Оно, наверное, переполнилось.

– Оно не переполнилось, потому что воротник новый. Сидеть.

Николай Андреевич не шевелился. Он смотрел на скатерть, и Варвара видела, как по его скуле, ниже виска, медленно проходит желвак. Потом он поднял глаза, не на тётю, а на Варвару, через стол, поверх тарелок, и взгляд у него был спокойный и очень серьёзный, как в рубке над картой, но в глубине его, совсем на дне, шевелилось что-то похожее на растерянность и на ту же самую упрямую честность, с какой он когда-то сказал «не знаю» на вопрос «зачем». Он смотрел на неё секунд пять. Потом опустил глаза.

– Можно ещё картошки? – спросил он.

В кухне стало совсем тихо. Жестяная птица, не выдержав, вывалилась из дверцы на гостиной и пискнула раз, другой, третий, потому что было пол-первого. Эмилия Карловна, не меняя выражения лица, придвинула к нему чугунок.

– Можно, – сказала она.

Он положил себе ложку, потом вторую, принялся есть. Тётя наблюдала за ним молча. Минуту, другую. Потом он взял огурец, откусил, и на всю кухню отчётливо, звонко хрустнуло.

– Хрен, – сказал Николай Андреевич, прожёвывая.

– Что? – не поняла тётя.

– Зинаида Петровна. Хрен. Лист смородины, чеснок. Угличские. Но у неё плёсовские лучше, у Клавдии Семёновны.

– Это не ответ, – сказала Эмилия Карловна.

– Знаю.

– Это даже не про то.

– Знаю, – повторил он и посмотрел на неё прямо, ровно, без тени вызова, как смотрят люди, которые не умеют лгать и не собираются учиться. В уголке его глаза что-то дрогнуло.

Эмилия Карловна смотрела на него долго. Лицо у неё менялось медленно, как меняется небо перед дождём, и Варвара, следившая за этим с надеждой и ужасом, увидела в нём то, чего не ожидала: что-то вроде уважения, и очень тонкую, почти невидимую тень улыбки.

– Вы либо очень умный, либо очень глупый, – сказала тётя. – Я пока не решила.

– Я тоже.

– Вот это уже честно. – Она взяла мундштук, вставила сигарету, поднесла к огню на конфорке и выпустила струю дыма в потолок. – Я не тороплю. У меня время есть, не так много, как хотелось бы, но на это хватит. Вы мне только скажите одно: вы её обидите?

Он помолчал.

– Постараюсь нет, – сказал он.

– «Постараюсь», – повторила тётя. – Это тоже честно. Хорошо. Ешьте.

И всё. Больше она ничего не спросила, и разговор на этом закончился, как заканчивается ливень, внезапно, без постепенного затухания. Эмилия Карловна поднялась, положила ему на тарелку ещё один пирожок, с вишней, и пошла к плите. Варвара сидела, глядя в стол, и пыталась придумать, куда деть лицо. В конце концов она положила на него ладони и просидела так секунд десять, пока Бемоль под столом не ткнулся холодным носом ей в щиколотку, как будто говорил: «Было и прошло».

Когда она отняла руки, то увидела, что Николай Андреевич смотрит на неё через стол. Он ничего не сказал. Но ему явно хотелось, и глаза у него были такие, как в рубке, когда он держал её за руку и не умел говорить красиво. Она, очень осторожно, одним уголком рта улыбнулась, и он ответил тем же, и оба тут же отвели взгляд, как два ученика, пойманные на перемигивании.

– Вот и славно, – сказала тётя в сторону плиты.

В три часа дня стало очевидно, что работы на крыше ещё на пару часов, потому что один из листов, смененных утром, был плохо прикрыт гребнем, а у водосточной трубы забилась листва, и Николай Андреевич после обеда вышел во двор. Варвара через полчаса принесла ему чаю. Она долго колебалась, решала, нести ли в чашке или в кружке (в кружке без ручки, как ей вдруг пришло в голову, было бы слишком), и в конце концов налила в обычный стакан с подстаканником, поставила на поднос вместе с куском яблочного пирога и поднялась по лестнице на пять ступенек, чтобы подать ему на высоту, потому что наверх подниматься не решилась.

Он сидел на гребне, свесив ноги, и счищал ножом старую мастику с трубы. Увидел её, взял стакан обеими руками, подержал, как держат тёплое, и сделал глоток. Потом, помолчав, спросил:

– Тётка всегда так?

– Всегда. Я думала, она давно подобрела.

– Подобрела, – сказал он.

– Это подобревшая?

– Она проверяла.

– Что проверяла?

– Выдержу ли. – Он откусил от пирога, прожевал. – Я выдержал?

– Не знаю. Она сказала, что ещё не решила, умный ты или глупый.

– Это в мою пользу. Если сразу решила бы, что глупый, выгнала бы.

Варвара засмеялась, и смех у неё получился негромкий, домашний. Внизу, под лестницей, Бемоль сидел, задрав морду, и следил за пирогом с тем же вниманием, с каким следил за ним Боцман с соседней ветки яблони, куда кот взгромоздился, видимо, ради лучшего обзора.

– Я думала, ты не приедешь, – сказала она.

– Тётка позвонила в четверг.

– Я знаю.

– Я собирался в пятницу.

– Куда?

Николай Андреевич посмотрел на неё сверху вниз, и она почувствовала, как в груди что-то слегка качнулось.

– Не знаю, – сказал он. – Сюда.

Больше он не добавил ничего. Вернул ей пустой стакан, поблагодарил кивком, потянулся за ножом и снова склонился над трубой. Варвара спустилась по ступеням, держа поднос двумя

руками, потому что не доверяла пальцам, и прошла через двор к веранде, ни разу не оглянувшись. Только у двери остановилась, прикрыла глаза и некоторое время просто стояла, слушая, как на крыше стучит молоток, ровно, ритмично, в такт её собственному пульсу.

В пятом часу стало темнеть. Закат в ноябре приходит быстро, сначала растягивая над западным краем неба узкую жёлто-розовую полосу, а потом без предупреждения втягивая её в себя, и небо становится синим, потом серым, потом чёрным. К тому времени, когда Николай Андреевич спустился с лестницы в последний раз и стал собирать инструменты, в окнах веранды уже горел свет, и в этом свете сад казался глубже и теснее. Боцман слез с яблони. Бемоль, не отходивший от лестницы весь день, получил от него в награду кусок сухаря, и теперь, кажется, считал его своим.

– Я поеду, – сказал он, стоя у крыльца с сумкой в руках.

– Куда? – спросила Эмилия Карловна из дверей.

– В Тарусу.

– В темноте?

– Дорога знакомая.

– Дорога в вашем возрасте не бывает знакомой в ноябре, – сказала тётя. – Там яма на Окской горке, в которую в прошлом году попала машина директора школы и осталась до утра. Оставайтесь на ужин.

– Спасибо, я...

– Это не вопрос. – Она развернулась и ушла в дом, оставив дверь открытой.

Николай Андреевич остался стоять, и вид у него был такой, какой бывает у человека, которого не спросили, но вежливо проинформировали. Варвара, вышедшая следом, встала рядом на ступеньке.

– Она всегда так, – сказала она. – Не спорь.

– Я не спорю.

– Ты стоишь.

– Это не спор.

– Это не согласие.

– Это промежуточное. – Он поставил сумку на ступеньку и снял шапку, и волосы у него торчали во все стороны. – Я позвоню Зинаиде Петровне. Она хотела, чтобы я вернулся к ужину, но если...

– Она будет рада, – сказала Варвара. – Вот честное слово. Она до сих пор считает, что мы с тобой ничего не знаем про личную жизнь.

– Мы ничего не знаем.

– Вот именно.

Он посмотрел на неё, на секунду задержал взгляд, потом улыбнулся: быстро, коротко, одной стороной рта, как улыбался на мостике, и тут же ушёл звонить.

Ужинали при свече, потому что в пять часов вечера на даче вдруг отключили электричество, как это бывает в ноябре без причины и предупреждения. Эмилия Карловна достала из буфета подсвечник с тремя свечами, зажгла их спичкой, поставила посередине стола, и кухня сразу стала другой: маленькой, золотой, с большими тенями на потолке и тёплым запахом воска. На ужин были те же щи, разогретые, холодец, картошка и яблочный пирог, но казалось, что всё это в свечах вкуснее. Николай Андреевич, переодевшийся в запасной серый свитер, который достал из «Нивы», ел молча и с удовольствием, а тётя рассказывала ему про Липовые Горки. Говорила она долго, и Варвара поняла, что это и есть второй экзамен, мягкий и невидимый: рассказывает она, как всегда, много и не по порядку, и где-то между воспоминаниями про довоенные дачи и про то, как здесь ловили Левитана, проверяет, слушает ли он по-настоящему. Он слушал. Спросил про оранжерею, про то, давно ли там стеклянная крыша, и

тётя, удивлённо подняв брови, ответила, что давно. Он спросил, сколько в посёлке домов, она ответила, что тридцать два. Он спросил, как зовут садовника.

– Ефим Кузьмич Агафонов, – сказала тётя. – Пятнадцать лет у Ираиды. Тихий человек, но лучше его в округе никто с землёй не говорит. Почему вы спрашиваете?

– Хотел поблагодарить.

– За что?

– За лист.

–Это Ираида приказала.

– Он мог бы не принести, если бы не хотел.

Эмилия Карловна посмотрела на него долгим внимательным взглядом, и Варвара, следившая за этим сквозь пламя свечи, поняла, что ещё одна клеточка в тётиной внутренней таблице закрашена в нужный цвет.

После ужина Варвара мыла посуду, а Николай Андреевич вытирал, и они стояли рядом у раковины, плечом к плечу, молча, и в этом молчании не было ничего напряжённого. Тётя ушла в гостиную, сыграла что-то на пианино, тихое, незнакомое, с неровным ритмом, и оборвала на середине, и больше не играла. Боцман, к общему изумлению, прошёл в кухню, поглядел на Фугу, сидевшую на холодильнике, и вдруг сел под ним, подняв морду, и они посмотрели друг на друга в упор, кот снизу, кошка сверху. Фуга издала короткий низкий звук, вроде кашля. Боцман не ответил. Через минуту она спустилась по ящикам буфета, как по ступенькам, подошла, обнюхала его нос, потом обошла вокруг, ткнулась носом ему под ухо, в целое, и ушла к печке, не сказав ни слова.

– Это что было? – шёпотом спросила Варвара.

– Приём, – сказал Николай Андреевич.

– В команду?

– В гости.

– Она вчера сорок минут шипела на собаку.

– Боцман знает, как себя вести.

– Он на корабле двадцать лет?

– Девять.

Спать его положили внизу, в маленькой комнате рядом с гостиной, которую тётя называла «кабинет» и в которой стоял узкий диван, письменный стол и книжный шкаф до потолка. Эмилия Карловна принесла бельё, постелила сама, и когда он, не желая мешать, сказал, что ляжет в машине, посмотрела на него с таким недоумением, что он замолчал.

Варвара поднялась в мансарду в одиннадцатом часу. Печка уже топилась, тётя, видимо, позаботилась заранее, и в комнате стояло ровное тепло. Ведро исчезло: кто-то унёс его и поставил в чулан. Она села на кровать, на лоскутное одеяло, и прислушалась. Над головой, на крыше, не было ни звука, кроме далёкого шелеста ветра в голых ветках. С потолка не капало. Первый раз за четыре дня в мансарде стояла абсолютная, чистая, ничем не прерываемая тишина.

Она долго сидела и слушала. Потом встала, подошла к круглому окну и отдёрнула занавеску.

Сад был чёрный. Над ним, за оврагом, за забором, за соснами, как и в первый вечер, горел мягкий золотой свет под стеклянным колпаком, и она смотрела на него, не думая ни о чём. Пока в доме, внизу, не скрипнула дверь. Послышались шаги: неторопливые, тяжёлые, чуть шаркающие, и она поняла, что это он, что он вышел во двор, и что-то заставило её приоткрыть фрамугу.

Внизу, у калитки, в темноте, стоял Николай Андреевич. Он смотрел не на дом, а за забор, на золотое свечение над соснами, и стоял неподвижно, засунув руки в карманы, как стоит человек, привыкший ночью смотреть на воду и угадывать по огням, что за ними. Рядом с ним сидел Боцман, прямой, как свеча. Оба смотрели в одну и ту же точку.

Она не позвала его. Постояла ещё, потом тихо закрыла фрамугу, задёрнула занавеску, разделась и легла, как велела тётя, с той стороны, где было сухо. Лоскутное одеяло пахло нафталином и яблоками. В печке потрескивало. Ведро в чулане молчало.

Спала она впервые за шесть недель без сновидений.

Глава 3

В воскресенье Эмилия Карловна встала раньше обычного и, не дожидаясь первой чашки, что само по себе было событием, принялась печь. Варвара поняла это ещё на лестнице по запаху: тёплому, плотному, с корицей и подгоревшим сахаром, какой бывает только там, где яблоки режут тонкими дольками и укладывают спиралью. Она спустилась в носках, в пижамных штанах и в сером свитере, который за четыре дня стал её единственной одеждой для нормальной жизни, и остановилась на пороге кухни, потому что картина там была такая, какой она не ожидала.

Тётя стояла у стола в фартуке поверх мужской кофты, с засученными рукавами и мукой на мундштуке, и раскатывала тесто скалкой, быстро, ловко, без всякой нежности, как раскатывают то, что должно слушаться. На плите в сковороде темнела карамель. Бемоль сидел под столом и не шевелился, только нос у него ходил вверх-вниз, а Фуга смотрела с холодильника на летевшую во все стороны муку с видом хозяйки, у которой в доме затеяли ремонт без согласования.

У окна, за маленьким столиком, на табуретке, которая казалась под ним детской, сидел Николай Андреевич. Он был выбрит, умыт, во вчерашнем сером свитере, и перед ним стояла чашка. Обычная фарфоровая чашка с розочками и ручкой. Он держал её обеими ладонями за круглые бока и смотрел на неё сосредоточенно и слегка настороженно, как смотрят на незнакомый прибор, у которого непонятно, где кнопка.

– Он не знает, что делать с ручкой, – сказала тётя, не оборачиваясь. – Двадцать лет пьёт из кружки без ручки, теперь переучивается. Я не вмешиваюсь.

– Доброе утро, – сказала Варвара.

– Доброе утро, – сказал Николай Андреевич и всё-таки взялся за ручку, осторожно, двумя пальцами, как берут за хвост что-то живое.

Она села напротив, и тётя, не прерывая работы, толкнула в её сторону по клеёнке вторую чашку, уже налитую. Кофе был густой, горький, с корицей, и от него в голове сразу стало ясно и светло. За окном лежало холодное тихое утро. Дождь кончился ещё накануне вечером, и ночью, видимо, к утру подморозило: трава в саду стояла седая, от каждой яблони шёл белый налёт, а лужи на дороге затянуло тонкой стеклянной коркой, в которой отражалось небо. Над оврагом тянулся розовый дымок чьей-то печной трубы. Николай Андреевич, как выяснилось, поднялся в шесть, расколол половину поленницы в сарае, поправил на веранде шатавшуюся ступеньку и подпёр штакетником заваливавшуюся калитку, и обо всём этом Варвара узнала не от него, а от тёти, которая перечисляла сделанное с таким же удовлетворением, с каким перечисляют на аукционе проданные лоты.

– Теперь о воскресенье, – сказала Эмилия Карловна, укладывая тесто в форму. – В четыре у Ираиды чаепитие. Вы приглашены оба, это значит, что отказываться нельзя, потому что отказ там воспринимается как объявление войны. Я не иду. Мы тридцать лет не разговариваем, и начинать с чаепития было бы дурным тоном.

– Но ты же сама...

– Я сама ни о чём не просила. Это Ираида позвала. – Она ловко закрыла пирог решёткой из тонких полосок. – Тебе надо знать, с кем ты будешь сидеть за одним столом, потому что представлять тебя там некому, а Ираида спрашивать не станет, она всё определит сама, по затылку. Поэтому слушай и запоминай.

Николай Андреевич отставил чашку и взглянул на Варвару. На лице у него не было ничего, кроме внимания, но уголок глаза чуть заметно дрогнул.

– Платон Георгиевич Лис, зять, – сказала тётя и принялась смазывать пирог яйцом кисточкой из гусиного пера, которой, судя по виду, пользовалась ещё в шестидесятые. – Анти-

квар. Красив до неприличия, образован и умён, а значит, мерзавец, хотя не безнадёжный. Говорит с женщиной так, будто она редкая ваза и он пока не решил, покупать ли. Не обижайся, он так со всеми, включая Ираиду. Был женат на её дочери Наталье, та умерла одиннадцать лет назад, и он остался в доме, потому что идти ему, по моему мнению, некуда. Или не хочется. Анна Верещагина, племянница, дочь покойного брата Ираиды. Тридцать восемь лет. Приезжает по субботам из Москвы, красивая, нервная, носит каждый раз новую сумку и всегда старый телефон. Что она делает, не знаю, но денег ей постоянно не хватает, а это определяется по тому, как человек смотрит на пирог. Герман. Двадцать четыре года. Платон усыновил его, когда женился на Наталье, поэтому он Ираиде приёмный внук. Мальчик хороший, глаза как у спаниеля, смотрит на Анну так, что мне за него неловко. Ефима ты видела. Лариса там по воскресеньям всегда, она у Ираиды вроде секретаря, или себя так считает.

– А Ираида? – спросила Варвара.

– Увидишь.

– Тётя.

– Если я начну объяснять Ираиду, мы не успеем до вечера. – Эмилия Карловна поставила пирог в духовку и захлопнула дверцу ногой в фетровом боте. – Скажу одно. Она никогда ничего не говорит просто так. Если сказала «чай», значит, будет нечто большее, чем чай. И если она тебя позвала, то ей что-то нужно.

– Что?

– Это и надо будет выяснить. – Тётя сняла фартук, повесила на гвоздь, достала мундштук и наконец прикурила. – Первая сигарета, – объявила она Фуге, сидевшей наверху, и та, как показалось Варваре, кивнула.

Пирог пекся час. За это время Николай Андреевич успел сходить в сарай и принести ещё дров, Варвара вымыла посуду, Бемоль съел чьё-то забытое печенье, а Боцман, ночевавший, как выяснилось, на «Ниве», пришёл к завтраку с важным видом и устроился под вешалкой, откуда мог наблюдать за всеми сразу. Пока Варвара наливала ему молоко в блюдце, тётя вынула из духовки пирог, золотой, блестящий, с тёмными пятнами карамели по краю, поставила остывать на подоконник, а когда тот остыл, завернула в чистое холщовое полотенце и положила на стол перед Варварой.

– Отнесёшь.

– Ты же не идёшь.

– Я не иду. Отнесёшь ты. Скажешь, от соседей.

– От каких?

– От любых. Их тут тридцать два.

– Она поймёт.

– Тогда пусть поймёт.

Варвара поняла, что спорить бесполезно, и взяла свёрток двумя руками. Он был ещё тёплый, и запах от него шёл такой, что хотелось сесть прямо на пол и съесть половину. Тётя наблюдала за ней, прищурившись, потом негромко добавила:

– Смотри, как люди держат чашки. Это много говорит.

К половине четвёртого погода установилась окончательно. Небо над Липовыми Горками вычистило и подвесило над садом бледно-голубую плоскость, на которой не было ни облачка, и в этом голубом свете стало видно, как далеко видно: за оврагом, за соснами, за серыми шиферными крышами, в стороне Оки, поднимались длинные синие холмы с редкими пятнами бурых лесов. Заиндевевшая трава на солнце быстро темнела и становилась мокрой. С яблонь осыпался иней. Воздух был такой чистый, что звук от дальнего колодца или от чьей-то пилы приходил отчётливым, точно сквозь стекло, и Варвара, идя рядом с Николаем Андреевичем по песчаной дороге с пирогом в руках, несколько раз ловила себя на том, что слушает не разговоры, а просто тишину между ними.

Николай Андреевич нёс сумку с инструментами и стремянку, которую взял из тётиного сарая: складную, алюминиевую, лёгкую, и стремянка у него в руке болталась, как удочка. Он надел вчерашнюю брезентовую куртку, но шапку оставил дома, и на солнце седина на висках казалась совсем светлой. Боцман шёл впереди метрах в десяти, не оборачиваясь, с поднятым хвостом, и время от времени останавливался, чтобы обнюхать столб, как инспектор, обходящий вверенные ему владения.

– Она сказала «чаепитие», – проговорила Варвара. – А ты нёсешь стремянку.

– Я обещал стекло.

– Тебя пригласили на чай.

– Меня попросили починить стекло, а чай потом.

– Это одно и то же.

– Нет, – сказал он и чуть улыбнулся. – Стекло честнее.

Они дошли до ворот Верещагиных, и она замедлила шаг. Ворота были кованые, высокие, тяжёлые, с вензелем «В» посередине, перевитым чугунными лозами, и за ними аллея из старых лип вела к дому, который снаружи казался больше, чем был на самом деле. Двухэтажный, оштукатуренный, цвета топлёного молока, с колоннами по бокам крыльца и широким балконом над входом, он стоял в глубине участка, как человек, привыкший, чтобы к нему подходили. Окна были высокие, в белых рамах, с тёмными шторами, и во втором этаже горел свет, хотя до сумерек ещё далеко. По обеим сторонам аллеи лежали аккуратно сгребённые кучи листьев, и в одной из них, у самой скамейки, кто-то оставил садовые грабли.

Ворота открыл сам Ефим. Он, вероятно, ждал, потому что распахнул створку почти до того, как они подошли, и стоял, отступив на шаг, в чистой рубашке и тёмной жилетке, с тщательно причёсанными волосами и с таким лицом, какое бывает у человека на государственном приёме. Увидел Боцмана, и по его неподвижной физиономии прошло что-то вроде тени улыбки.

– Здравствуйте, – сказал он. – Ираида Львовна ждёт в оранжерее. Она велела сначала стекло, потом чай. Если вам удобно.

– Удобно, – сказал Николай Андреевич.

– Мы пойдём прямо через сад, дом обойдём. Пирог оставьте здесь, я возьму.

– Я сама, – сказала Варвара.

Он не стал спорить. Пошёл впереди по боковой дорожке, посыпанной красным песком и обложенной по краям битым кирпичом, и они двинулись следом, а Боцман, как свита, замыкал шествие. Сад был большой и запущенный в той степени, в какой запущенность выглядит нарочитой: старые яблони с обмотанными соломой стволами, кусты смородины, срезанные под корень, цветочные грядки, закрытые еловым лапником, и между ними ровные тропинки, расчищенные до земли. Всё было прибрано и закрыто к зиме, но чувствовалось, что дело делает человек, который любит землю и не разрешает ей зарастать. Воздух пах прелой листвой и дымом.

Дом они обошли по правой стороне, мимо веранды, где стояли плетёные кресла, укрытые клеёнкой, и мимо крыльца с чёрной дверью и медной ручкой, и за углом, на широкой поляне, поросшей редкой седой травой, увидели оранжерею.

Варвара много раз смотрела на неё из мансарды и представляла чем-то вроде стеклянной банки. Вблизи она оказалась совсем другой. Это было большое длинное сооружение метров в двадцать, на низком кирпичном основании, с белыми железными рёбрами, поднимавшимися дугой и сходившимися под самым коньком, и с огромными стёклами, чуть мутными от возраста, в которых отражалось небо. Стекло было старое, цельное, с лёгкой рябью, и от этого вся постройка казалась живой и слегка колышущейся, как вода. С северной стороны примыкала короткая крытая галерея с резными перилами, соединявшая оранжерею с домом, а с южной, обращённой к саду и к тётиному забору, стояла дверь, застеклённая сверху до половины, с

чугунной ручкой и тяжёлой задвижкой изнутри. Над дверью висела жестяная табличка, ржавая, с полустёртой надписью по трафарету: «Не входить в грязной обуви».

Ефим открыл дверь, и на них пахнуло теплом.

Тепло это было влажное, плотное, как в бане, но без запаха пара, и пахло в нём так, что Варвара остановилась на пороге и закрыла глаза. Лимоны. Не те, что продаются в магазинах, а настоящие, живые: горький, острый, чуть смолистый запах кожицы, листьев, цветов, которые распускаются вопреки календарю, и ещё чего-то, влажной земли, тёплого железа, старой побелки. Внутри оранжерея оказалась длиннее, чем снаружи, потому что стёкла уходили в стороны и вверх, и между рядами стоял десяток кадок с деревьями, невысокими, густыми, тёмно-зелёными, с глянцевыми листьями, среди которых тут и там висели жёлтые плоды, крупные, шершавые, как маленькие мячи. На каждой кадке была прибита деревянная бирочка, и на бирочках аккуратным почерком были выведены имена: «Глюк», «Гайдн», «Моцарт», «Чайковский», «Бородин», «Шопен». Под потолком, на железных крюках, висели лампы с матовыми абажурами, сейчас погашенные, а вдоль южной стены тянулась длинная скамья, заставленная горшками с геранью, фикусами и какими-то мелкими растениями, названий которых Варвара не знала.

– Они все музыканты, – сказал Ефим, поймав её взгляд. – Ираида Львовна дерево называет по тому, чья музыка с ним в год посадки играла.

– А это?

– Это «Георгий». – Он показал на самое большое дерево, стоявшее посередине, в кадке на колёсиках. Оно было выше остальных, ветви его почти касались стекла, и на нём не висело ни одного плода. Бирочка на кадке потемнела от времени. – Его посадил Георгий Алексеевич. В шестьдесят четвертом. Он не родит, но она не даёт срубить.

– Почему не родит?

– Не хочет.

Он сказал это без улыбки, просто констатируя, и пошёл дальше, а Варвара, глядя на неродящее дерево, подумала, что в этом доме, вероятно, любят то, что не оправдывает ожиданий.

В глубине оранжереи, между двумя кадками, в просторной круглой нише, стоял стол. Железный, ажурный, выкрашенный в белый цвет, с мраморной столешницей и шестью плетёными креслами вокруг. На мраморе уже была расстелена льняная скатерть, на скатерти расставлена посуда: тонкие чашки с золотым ободком, блюдца, сахарница, ложечки, а в центре стояла большая серебряная ваза с розовыми хризантемами. Чуть в стороне, на отдельном столике, на спиртовке, пыхтел старинный самовар с резными ручками. Рядом высился второй столик с несколькими подносами, прикрытыми салфетками. Пахло ванилью.

Ближе всего к столу, у самой стены, стояла чугунная печка с трубой, уходившей в стеклянный потолок, и в ней тихонько потрескивали дрова. Варвара подошла ближе, и в этот момент рядом что-то глухо стукнуло: Николай Андреевич раскладывал стремянку.

– Покажите, – сказал он Ефиму.

Трещина оказалась не там, где Варвара ожидала. Она шла по верхнему стеклу северного ската, высоко, метрах в четырёх от пола, длинная, извилистая, как ручей на карте, от самого края рамы почти до середины. Николай Андреевич посмотрел на неё снизу, потом полез на стремянку, и Ефим, не говоря ни слова, встал рядом и взялся за ножки, придерживая, как держат лестницу, на которой стоит близкий человек.

– Старая, – сказал Николай Андреевич сверху. – От перепада. Днём тепло, ночью холодно, стекло гуляет. Нужно заменить лист. Есть?

– Есть. Один в сарае, на крайний случай. Я принесу.

– Принесите.

Ефим ушёл, оставив Варвару внизу, и она стала смотреть наверх, на человека, стоящего на лестнице в луче света, который проходил сквозь стеклянные рёбра и ложился на него поло-

сами. Он стоял, чуть склонив голову, и ощупывал трещину пальцем. Потом вдруг замер, поднял глаза, перевёл взгляд за стекло, на сад, на край участка, туда, где за яблонями и деревянным забором угадывалась серая крыша тётиной дачи. Там, на мансарде, поблёскивало круглое окно.

– Отсюда видно твоё, – сказал он негромко.

– Отсюда видно всё, – ответила она. – И отсюда меня тоже видно.

– Тебя нет. Только окно.

– Этого достаточно.

Он промолчал. Но при этом, как заметила Варвара, у него шевельнулся уголок рта, и он ещё несколько секунд смотрел в ту сторону, прежде чем взяться за нож.

Пока Ефим ходил за стеклом, пока Николай Андреевич снимал старые замазку и штапики, а Боцман, найдя себе место под самой тёплой кадкой, свернулся на куске рогожи и сделал вид, что спит, в оранжерею начали собираться гости.

Первым появился Платон Георгиевич. Он вошёл со стороны галереи, и Варвара, которая стояла у печки, обернулась на звук его шагов: лёгких, пружинистых, ровных, каких она давно не слышала у мужчин его лет. Лет ему было шестьдесят с небольшим. Высокий, подтянутый, в светлом твидовом пиджаке с замшевыми заплатами на локтях, в жилете и в галстуке-бабочке тёмно-красного цвета, он был красив той вальяжной, ухоженной красотой, которая сохраняется у людей, всю жизнь окружавших себя дорогими вещами. Волосы седые, густые, зачёсанные назад. Лицо с правильными чертами, чуть тяжеловатым подбородком и с очень внимательными, чуть насмешливыми светло-карими глазами. На мизинце левой руки поблёскивал золотой перстень с печаткой. От него пахло дорогим одеколоном, табаком и немного лавандой.

Он остановился, оглядел её, потом печку, потом лестницу с человеком, и в его взгляде мелькнуло то, что тётя называла «оценивающим»: он смотрел на неё так, как смотрят на предмет, которому надо определить цену и эпоху.

– Вы, должно быть, племянница Эмилии, – сказал он мягко, с лёгкой хрипотцой. – Варвара. Я так много о вас слышал. Платон Лис. Очень рад. Альтистка, если не ошибаюсь?

– Откуда вы знаете?

– От Ларисы. Она знает всё. – Он поцеловал ей руку, быстро, по-старомодному, и не выпустил сразу. – У вас прекрасные пальцы. Не часто увидишь такие, музыкальные, вытянутые, с широкой подушечкой. Я в них разбираюсь, я шестьдесят лет их собираю. Простите. Я шучу.

– Мне не показалось.

– Вот и хорошо. – Он отпустил её руку и обернулся к лестнице. – А это, вероятно, ваш спутник? Сильный человек с инструментом. Очень по-мужски. Я всегда завидовал тем, кто умеет что-нибудь делать руками, меня этому, к несчастью, не научили.

– Платон Георгиевич, – сказал Николай Андреевич, не поворачивая головы.

– Вы знаете моё имя?

– Тётя Варвары перечислила.

– Ах, Эмилия. – Платон Георгиевич хмыкнул и покачал головой, как человек, услышавший давнюю шутку. – Она, наверное, сказала, что я мерзавец.

– Она сказала, что вы образованный.

– Это, конечно, то же самое, – сказал Платон Георгиевич с очаровательной улыбкой и пошёл вдоль кадок, трогая листья кончиками пальцев и что-то под нос бормоча.

Он остановился возле самого большого дерева, окинул его взглядом, потом перевёл глаза на стол с самоваром, наклонился над ним и почти нежно провёл ладонью по резной ручке.

– Прекрасный, – сказал он. – Тула, начало девятнадцатого. Серебро пробирное. Я за такой на аукционе в Лондоне торговался, проиграл. А у неё он стоит в оранжерее на спиртовке, и за

него никто никогда не дал ни копейки, потому что она не продаёт. Это, знаете, преступление: держать подобную вещь без дела.

– Она его использует, – заметила Варвара.

– Именно. В этом и преступление.

Он засмеялся, и смех у него получился красивый, лёгкий, очень уверенный, как у человека, привыкшего, что его слушают. Но Варвара, отвернувшись к печке, уловила то, чего не уловила бы, если бы не слушала профессионально: за смехом шла вторая линия, тихая, быстрая, суетливая. Он слишком уж аккуратно трогал листья и слишком внимательно рассматривал самовар, будто боялся, что кто-то заметит что-то другое.

Следом за ним пришёл Герман.

Он вошёл так тихо, что она заметила его, только когда он оказался у самой кадки, и сперва даже не поняла, что это человек. Длинный, тощий, сутулый, в мешковатой серой толстовке и в старых джинсах, с растрёпанными тёмными волосами, падавшими на очки в толстой роговой оправе. Руки у него были большие, с торчащими костяшками, и он держал в них тетрадь на пружине и огрызок карандаша. Лицо было мягкое, мальчишеское, с пухлыми губами и тем выражением, какое бывает у людей, всё время ожидающих, что их сейчас отругают. Глаза у него действительно были как у спаниеля: тёмные, круглые, чуть влажные.

– Здрасьте, – пробормотал он, остановившись в двух шагах и глядя в пол. – Я Герман.

– Варвара.

– Знаю. Лариса Фёдоровна говорила.

– Вы учитесь?

– Да. – Он помедлил. – В Москве. На архитектора. На втором курсе.

– Интересно?

– Нормально. – Он поднял на неё глаза, быстро, и тут же отвёл их. – Я здесь рисую. Лимоны. Они хорошие, фактурные. У них листья такие, знаете, будто лакированные.

Он открыл тетрадь, и она увидела наброски, сделанные уверенной, мягкой рукой: ветка с плодом, угол кадки, кусок рамы, лицо Ефима в профиль, чуть наклонённое над лопатой. Рисунки были хорошие. Не потому, что умелые, а потому, что внимательные: он замечал то, что люди обычно проскакивают, наклон плеча, поворот кисти, и нигде не хвастался.

– Это очень хорошо, – сказала Варвара.

– Спасибо. – Он покраснел и захлопнул тетрадь. – Вы только не говорите Платону. Он считает, что я должен учиться на искусствоведа.

– Я не скажу.

Герман кивнул и отошёл к скамье у южной стены, где, судя по всему, всегда сидел: на подоконнике между двумя горшками с геранью осталась вмятина от его тела. Устроился там, подтянув колени к груди, и стал рисовать Боцмана. Кот открыл один глаз, оценил художника и снова закрыл, разрешив.

Анна появилась последней из домашних, и Варвара поняла, что это она, ещё до того, как та открыла рот. Невысокая, тонкая, изящная, в светлом верблюжьем пальто, которое сидело на ней так, как сидят вещи, купленные в очень хорошие времена, и в шёлковом шарфе с золотой нитью, завязанном небрежным узлом. Волосы тёмные, густые, собранные в низкий пучок. Лицо было красивое, с высокими скулами и огромными серыми глазами, но с тем усталым, перетянутым выражением, какое бывает у человека, привыкшего улыбаться по обязанности. Тени под глазами она замазала тональным кремом, но замазала плохо, и они проступали. Пальто пахло духами, дорогими и чуть слишком сладкими, и под духами едва угадывался слабый запах сигарет, которые она, видимо, выкурила по дороге из машины.

Она остановилась в дверях, держа в руке телефон, и телефон тут же зажужжал. Анна глянула на экран, нахмурилась, сбросила вызов, сунула аппарат в карман и натянуто улыбнулась всем сразу.

– Приветствую, – сказала она. – Здравствуйте. Вы, наверное, Варвара. Мне Лариса говорила. Я Анна. Как мило, что вы пришли, в нашей глуши так редко бывают новые лица.

– Здравствуйте.

– Ужасная дорога, – продолжала Анна, снимая перчатки, и пальцы у неё дрожали так, что она с третьего раза расстегнула пуговицу. – Две пробки, потом какой-то идиот на тракторе. Я думала, не доеду. Платон, привет. Герман, милый. Ефим, где тётя?

– В доме, – сказал Ефим, как раз вернувшийся со стеклом в руках. – Сейчас выйдет.

Телефон у неё в кармане зажужжал снова. Она сунула руку, нажала что-то, сказала в сторону: «Позже, я же сказала», и тут же вернула себе улыбку, как возвращают шляпу на место. Варвара наблюдала за этим и думала, что у Анны за вежливой лёгкостью, должно быть, лежит что-то тяжёлое, и тяжесть эта давно, возможно, не первый месяц, давит на плечи. Герман на подоконнике перестал рисовать. Он смотрел на Анну, не поднимая головы, одними глазами, и Варвара вдруг увидела в этом взгляде такую нежность, такую безнадёжную, мальчишескую преданность, что ей стало за него неловко, как и тёте.

В это время на галерее послышался стук палки.

Это был звук сухой, ровный, неторопливый, и каждый удар чётко совпадал с шагом, как будто человек отбивал размер. Все в оранжерее повернулись. Платон выпрямился. Анна на секунду закрыла глаза. Герман отложил карандаш. Николай Андреевич, стоявший на лестнице, медленно опустил нож. В дверях галереи появился Ефим, придержал створку, и вслед за ним вошла Ираида Львовна Верещагина.

Она была маленькая. Это было первое, что подумала Варвара, и тут же поняла, что обманулась: Ираида Львовна просто держалась так, что рядом с ней все казались ниже. Ей было за восемьдесят, но спина оставалась прямой, как линейка, а голова, увенчанная плотным узлом совершенно белых волос, сидела на тонкой шее с достоинством, не терпящим возражений. На ней было тёмно-серое шерстяное платье, закрытое, с воротником-стойкой, и у горла сверкала старая овальная камея на золотой оправе. На руках, сухих, узловатых, с тонкими пальцами, лежали вязаные митенки. В правой она держала чёрную трость с серебряным набалдашником в виде львиной головы, в левой смятый носовой платок. Лицо у неё было узкое, с резкими, как будто вырезанными ножом чертами, тонкими бескровными губами и огромным лбом, а глаза светлые, водянисто-голубые, совершенно прозрачные, смотрели так, что хотелось немедленно признаться в чём угодно.

Нос у неё был красный. Вот что стало, пожалуй, неожиданным: красный, припухший, влажный, и глаза слегка слезились. Она подошла к столу, остановилась, высморкалась в платок так громко и основательно, что на ближайшем лимоне дрогнул лист, и сказала в нос, не здороваясь:

– Простите. Насморк.

Никто не ответил. Только Боцман под кадкой тихо мяукнул, и Ираида Львовна, повернув голову, посмотрела на него долго, внимательно, как смотрят на давнего знакомого.

– Это ваш? – спросила она Николая Андреевича, всё ещё стоявшего на лестнице.

– Судовой. Зимует при мне.

– Моряк.

– Был.

– Нельзя «быть» моряком. Либо ты моряк, либо нет. – Она опёрлась на трость. – Это правильный кот. В доме, где оранжерея, должен быть кот, иначе мыши съедят корешки. Меня зовут Ираида Львовна. Вас?

– Николай Андреевич Рябинин. Капитан речного флота.

– Тем более. Закончите стекло и спускайтесь. Не люблю, когда люди разговаривают с потолка.

Он кивнул и вернулся к делу. Ираида Львовна повернулась к Варваре и некоторое время просто смотрела: без улыбки, без любопытства, с ровным, чуть холодным вниманием. Варвара почувствовала, как от этого взгляда выпрямляются плечи, и поймала себя на том, что стоит по струнке, как перед экзаменатором.

– Вы Варвара, – сказала Ираида Львовна. – Эмилия не пришла.

– Она просила передать... – начала Варвара, и осеклась, потому что в руках у неё всё ещё лежал свёрток, о котором она забыла. – Вот.

– Что это?

– Пирог. От соседей.

Ираида Львовна не стала спрашивать, от каких. Взяла свёрток, взвесила на ладони, подержала и передала Ефиму, не разворачивая.

– Поставьте к самовару. Мы его попробуем.

– Вы, наверное, не почувствуете вкуса, – вырвалось у Варвары.

– Почему?

– Насморк.

Что-то дрогнуло в узком лице, сжалось, разжалось, и Варвара вдруг осознала, что сказала это вслух, а не про себя, и что на лице Ираиды Львовны, в самом уголке рта, поселилось нечто, похожее на усмешку.

– У меня ринит, – сказала Ираида Львовна. – Вторую неделю. Я ничего не нюхаю. Могу съесть дохлую мышь и не замечу. Поэтому принимаю гостей по существу, а не по вкусу. Садитесь. Я вам скажу, где.

Усадила она их сама, и в этом тоже чувствовалась рука человека, привыкшего распоряжаться. Себе взяла кресло во главе стола, с высокой спинкой, лицом к двери. Справа от себя посадила Варвару, слева Платона. Анну напротив, Германа рядом с Анной, а Николаю Андреевичу, как только он спустился со стремянки и вытер руки, указала место между Варварой и Ефимом, который остался стоять у самовара. Для Ларисы осталось кресло у дальнего края, чуть в стороне, и сама Лариса в этот момент показалась на пороге галереи.

Она была в том же сером пальто и вязаной шапочке, с круглой плетёной корзинкой в руках, накрытой салфеткой, и лицо у неё было свежее, розовое, весёлое, как у человека, который по дороге успел услышать что-то приятное.

– Ираида Львовна, простите за опоздание! – сказала она, быстро снимая шапку и встряхивая седыми волосами. – Я задержалась у Гринбергов, Софья Яковлевна не отпускала. Я принесла вам липового мёда, он действительно от простуды. И пастилы, яблочной. Варвара Сергеевна, как хорошо, что вы пришли. И вы, Николай Андреевич, я вас вчера видела на крыше, вы просто герой.

– Я видел, как вы смотрели, – сказал Николай Андреевич ровно, и Варвара услышала, как у неё внутри что-то коротко хрустнуло, как льдинка.

– Любопытство, – сказала Лариса с обаятельной улыбкой. – Профессиональная привычка. Мне всё интересно.

Она села на своё место, поставила корзинку на пол, сложила руки на коленях. Лицо у неё было приветливое, открытое, и в глазах, увеличенных очками, светилась готовность понравиться. Но Варвара уже заметила, какой это тщательный свет.

Ефим наливал чай.

Он делал это в особом порядке, очевидно, давно отработанном: сначала Ираиде Львовне, потом гостям, потом по часовой стрелке. Чай был чёрный, крепкий, дымный, с терпким запахом, и к нему на блюдце подавались ломтики лимона, срезанные с дерева, как пояснила Ираида Львовна, «Моцарта, он самый щедрый». Рядом на плоской тарелке лежал лимонный кекс, жёлтый, посыпанный сахарной пудрой, и тарелка с мелкими печеньями, и розетка с брусничным вареньем. Варвара подняла чашку. Тонкий фарфор был тёплый и почти невесомый, а чай

оказался вкусный, настоящий, без всякой добавки. Она вспомнила тётин совет и посмотрела на чужие руки.

Платон держал чашку кончиками трёх пальцев, мизинец отставлен, взгляд поверх неё, в расчёте на зрителя. Анна обхватывала её обеими ладонями, будто грелась, и у неё чуть дрожали пальцы. Герман вообще не пил, просто водил ложечкой по краю и смотрел на Анну. Ефим не пил тоже, стоял у самовара прямой, как дерево. Лариса держала чашку за ручку и отхлёбывала мелкими аккуратными глотками, а в промежутках промокала рот салфеткой. Николай Андреевич взялся за ручку с тем же осторожным вниманием, с каким утром на кухне тёти, и Варвара заметила, как Ираида Львовна мельком глянула на его пальцы и еле заметно кивнула.

Сама Ираида Львовна пила, глядя поверх чашки на лимонное дерево «Георгий». Потом достала из кармана платья маленький пузырёк из коричневого стекла, крошечный, с резиновой пипеткой, отсчитала в рюмку с водой двадцать капель, громко, вслух, считая по-немецки, выпила, поморщилась и сунула пузырёк обратно.

– Сердце, – пояснила она в пространство. – Нормальное для моего возраста. Врач говорит, будь здорова, но не геройствуй. Я не геройствую, я просто живу.

Ефим, стоявший у самовара, шевельнулся, и Варвара поняла, что пузырёк всегда лежит у неё в одном и том же кармане, и что весь дом, наверное, знает про капли и про то, сколько их надо.

Первые минуты прошли в молчании. Лимонный кекс был нежный, чуть влажный, с горьковатой корочкой, и Варвара ела его, чувствуя, как отпускает напряжение. Платон рассказывал что-то про последний аукцион в Париже, Анна иногда вставляла реплику, Герман изредка кивал. Лариса поддерживала разговор так умело, что Варвара поймала себя на том, что восхищается: она в нужный момент задавала вопрос, в нужный соглашалась, в нужный вставляла незаметную шутку, и разговор тек сам, без усилий, как по смазанным рельсам. Ираида Львовна слушала, ничего не говоря, и крошила кусочек кекса на блюдце.

– Георгий Алексеевич, – сказала вдруг Лариса, и Варвара заметила, что она сказала это чуть громче, чем остальное, – всегда говорил, что оранжерея это единственное место, где зима не имеет права голоса. Я помню, как вы мне рассказывали, Ираида Львовна, что он приходил сюда в январе и сидел под «Бородиным» с блокнотом и говорил, что химия – это поэзия без рифмы...

Ираида Львовна подняла голову.

Не быстро. Совсем не быстро: медленно, как поднимается шлагбаум на заброшенном переезде. Светлые глаза нашли Ларису и остановились на ней, и в оранжерее стало слышно, как потрескивает печка.

– Я вам это рассказывала? – спросила она.

– Да, конечно, – сказала Лариса, слегка улыбаясь. – Кажется, в прошлом году, на Рождество. Вы были в таком хорошем настроении.

– Про блокнот?

– Про блокнот. И про «Бородина».

– Я не помню.

– Возможно, я что-то путаю, – сказала Лариса. – Человеческая память, знаете. Может быть, это мне Нина Георгиевна рассказывала. Или Ефим. Правда, Ефим?

Ефим, стоявший у самовара, ничего не ответил. Он смотрел перед собой ровным, пустым взглядом, и по его лицу нельзя было прочесть ни согласия, ни возражения.

– «Химия – поэзия без рифмы», – повторила Ираида Львовна медленно, словно пробуя слова на вкус. – Он так сказал один раз. В шестьдесят четвертом. Жене. Больше никому. – Она помолчала. – Странно.

– Это же чудесная формулировка, – сказал Платон, наклоняясь вперёд, – и мне кажется, Георгий Алексеевич вполне мог ею поделиться хоть с кем.

– Мог, – согласилась Ираида Львовна. – Но не делился.

Она отвернулась и снова стала смотреть на лимонное дерево, и разговор опять потёк, но уже с каким-то лёгким сквозняком. Варвара украдкой посмотрела на Ларису. Та сидела прямо, держа чашку обеими руками, и на лице у неё была вежливая, спокойная улыбка. Только кончики пальцев, обхватывавшие ручку, чуть побелели.

– Расскажите про ваш оркестр, – обратилась вдруг Ираида Львовна к Варваре. – Я слышала. Всё печально.

– Оркестр распался.

– Вы играли на альте.

– Играю.

– Георгий Алексеевич тоже играл. – В узком лице что-то смягчилось, и голос, глухой от насморка, стал ниже и ровнее. – По воскресеньям здесь собирался квартет. В шестидесятые. Он и три физика. Играли Гайдна, Бородина, всё, что умели. Он был альтом. Плохим, надо сказать. Но с таким лицом, что никто не смел заметить.

Варвара засмеялась, и сама удивилась: смех вышел тёплый, непринуждённый.

– Мой отец говорил, что альтисты всю жизнь живут с таким лицом.

– Он был прав. – Ираида Львовна отпила чаю. – Мы с ним слушали одну вещь. Ноктюрн из Второго квартета Бородина. Знаете?

– Конечно.

– Альт там почти ничего не играет. Он держит гармонию, чтобы виолончель и скрипка могли петь. Я как-то спросила: тебе не обидно? А он ответил: «Ираида, самое главное в квартете не мелодия. Самое главное то, что под ней. Если убрать мелодию, музыка останется. Если убрать то, что под ней, она рассыплется». – Она замолчала. – Я с тех пор слушаю альты. Всегда. Хотя это, пожалуй, глупо.

– Это не глупо, – сказала Варвара. И почувствовала, что горло у неё сжалось.

– Конечно, глупо, – сказала Ираида Львовна. – Но вы же не станете говорить старухе, что она глупа.

– Нет.

– Вот и спасибо.

Платон тихо кашлянул, Анна опустила глаза в чашку, Герман на секунду перестал помешивать ложечкой. Николай Андреевич, сидевший рядом, не шевельнулся, но Варвара ощутила, как его рука на мгновение коснулась её локтя, невесомо, одним пальцем, как проверяют, на месте ли предмет, и тут же убралась.

– Платон, – сказала Ираида Львовна, не поворачивая головы. – Вы мне должны одну вещь.

Платон вздрогнул. Совсем чуть-чуть, но Варвара заметила: плечи его дёрнулись.

– Что, Ираида Львовна?

– Вазу. Ту, с драконами, что стояла на буфете в гостиной. Её нет с прошлой пятницы.

– Ах, это. – Он развёл руками и улыбнулся так обаятельно, что любой посторонний человек поверил бы. – Я забрал на экспертизу. Помните, я говорил, что хочу показать её одному специалисту? Там, кажется, дефект глазури, и я не хотел вас тревожить...

– Принесите к среде.

– К среде?

– Принесите, – повторила Ираида Львовна, – к среде. Все вещи. Те, что стоят на месте, и те, что «на экспертизе». Я хочу видеть, что где.

Платон секунду смотрел на неё, и улыбка на его лице держалась, но глаза стали совсем другими: быстрыми, холодными, расчётливыми. Потом он засмеялся, легко, как смеются над хорошей шуткой, и сказал:

– Разумеется. К среде всё будет на месте.

– Вот и славно.

Она повернулась к Анне. Анна сидела, не шевелясь, и телефон в её кармане опять мелко завибрировал. Ираида Львовна подождала, пока он утихнет.

– Как работа?

– Хорошо, тётя Ира. Всё хорошо.

– Ты занимаешься интерьерами.

– Да. У меня несколько проектов. Один очень крупный, в Барвихе, мы подписываем в декабре...

– Ты лжёшь красиво, – сказала Ираида Львовна. – Это у тебя от отца. Он тоже врал красиво. Я за это его и любила, и не прощала. Не бледней. Я не сказала, что это плохо. Я сказала, что ты красиво это делаешь.

Анна открыла рот и закрыла. На скулах у неё проступили красные пятна, потом разом сошли, и лицо стало бледным, почти прозрачным. Герман что-то прошептал, но она не расслышала, потому что в этот момент ложка выскользнула у неё из пальцев и звякнула о блюдце.

– Герман, – сказала Ираида Львовна.

– Да? – сказал он с запозданием, подняв на неё глаза.

– Ефим говорит, ты ночами ходишь по саду.

Герман покраснел так стремительно, что кровь бросилась ему даже в уши. Он сжал в руке карандаш, и карандаш хрустнул.

– Мне не спится, – сказал он. – Я просто... гуляю.

– До какого часа?

– Не знаю. До двух. Иногда дольше.

– Это вредно. Молодому человеку нужно спать. – Она смотрела на него долгим внимательным взглядом. – Что ты видишь ночью?

– Ничего. – Он потупился. – Лампы в оранжерее горят. Это красиво.

– Лампы для лимонов. Я не гашу их до часу. – Ираида Львовна помолчала. – Хорошо. Иди спать пораньше.

– Да, бабушка.

– Не «бабушка». Ираида Львовна. Вы все знаете, что я не бабушка.

Это было сказано без злости, но с такой железной окончательностью, что у Германа дрогнули плечи. Он кивнул. Анна протянула руку под столом и на секунду сжала его запястье, коротко, быстро, и отдёрнула. Варвара заметила это и заметила, как Платон, сидевший наискосок, проследил за жестом краем глаза и чуть заметно поджал губы.

Николай Андреевич в это время молча намазывал варенье на кусок хлеба. Он делал это точно, неторопливо, не глядя ни на кого, и со стороны казался просто человеком, занятым едой. Но Варвара видела, что он слушает, и слушает так, как слушал на мостике туман: всем телом, не пропуская ни звука. Он положил кусочек в рот, прожевал, посмотрел на Ираиду Львовну и спросил:

– Вы давно пользуетесь этой печкой?

– С шестьдесят первого года, – сказала она. – А что?

– Тяга хорошая. Дрова сухие. Ефим колет?

– Ефим.

– Видно.

Ираида Львовна повернула голову к Ефиму, и Варвара впервые увидела на её лице что-то похожее на гордость.

– Ефим Кузьмич у меня пятнадцать лет, – сказала она. – До него был другой, старик, пил. А этот не пьёт и не врёт. Сочетание редкое. – Она снова посмотрела на Николая. – Вы тоже не врёте?

– Стараюсь.

– «Стараюсь», – повторила она. – Мне нравится, что вы это знаете.

Что-то прозвенело в оранжерее. Тихо, тонко, будто тронули край бокала. Все повернулись и увидели, что Ираида Львовна держит в руке серебряную ложечку и постукивает ею о блюдце, медленно, раз, два, три, так, что звук заполнил всё пространство, отражаясь от стекла.

– Теперь я скажу несколько слов, – сказала она.

В оранжерее стало тихо. Печка перестала потрескивать, самовар на спиртовке тихо выдохнул пар, и в наступившей паузе стало слышно, как далеко-далеко, за садом, лает собака. Платон выпрямился. Анна положила руки на колени. Герман застыл с карандашом. Лариса поставила чашку, и тонкий фарфор чуть звякнул о блюдце. Ефим стоял у самовара неподвижно, как памятник.

– Мне восемьдесят три года, – сказала Ираида Львовна. – Это возраст, когда пора приводить дела в порядок. Я многое откладывала. Теперь больше не откладываю. В среду, в пять часов вечера, сюда приедет нотариус Дымов. Борис Аркадьевич. Вы все его знаете. Я прошу быть всех: Платона, Анну, Германа, Ефима Кузьмича. Ларису Фёдоровну тоже, она много лет ко мне добра.

– Конечно, – сказала Лариса быстро. – Разумеется. Я с удовольствием. Мы все...

– Я не закончила.

Лариса замолчала.

– В среду я объявлю нечто, – продолжала Ираида Львовна ровным, глуховатым, лишённым всякой театральности голосом, – что многих из вас расстроит. Я не извиняюсь. Я прожила долго и имею право на решения. Но я предупреждаю заранее, чтобы к среде каждый успел привыкнуть к мысли, что мир изменится. Дом, сад, оранжерея, бумаги Георгия Алексеевича. Всё это будет иначе, чем вы думали. Больше я ничего не скажу. Спрашивать не нужно.

– Тётя Ира... – начала Анна, и голос у неё сорвался.

– Не нужно, – повторила Ираида Львовна и положила ложечку на блюдце.

Все молчали. В тишине слышно было, как Платон Георгиевич с лёгким шелестом поправил бабочку. Герман смотрел на Анну. Ефим не двигался.

Варвара повернула голову и посмотрела на Ларису.

Она не собиралась. Просто взгляд скользнул по лицам, как скользит по клавишам рука, ища начало мелодии, и остановился там, где слух подсказал: здесь не так. Лариса сидела всё в той же прямой позе, с той же вежливой улыбкой на лице, и лицо её было спокойно. Но у рта, у самого уголка, мелко и часто билась жилка, а пальцы, лежавшие на коленях, сжимали салфетку так, что костяшки стали жёлтыми. Она слегка приоткрыла рот, как будто собиралась вздохнуть, и не вздохнула. И на одну секунду, на ту короткую долю секунды, в которую человек не успевает собрать лицо, глаза её за стёклами очков стали огромными, тёмными, расширенными, в них мелькнул не интерес, не удивление и не тревога, а настоящий, чистый, животный ужас, какой бывает у птицы, залетевшей в комнату и увидевшей, что окно закрыто.

Потом всё исчезло. Лицо расправилось, глаза вернули привычное мягкое выражение, а губы сложились в сочувственную полуулыбку.

– Как неожиданно, Ираида Львовна, – сказала Лариса негромко, и голос у неё звучал ровно, но слишком ровно, как струна, натянутая чуть выше строя. – Надеюсь, ничего дурного?

– Хорошее или дурное зависит от того, кто смотрит, – ответила Ираида Львовна. – Вы, Лариса Фёдоровна, это знаете лучше других. Вы же писатель.

Она подняла чашку и сделала глоток. Лариса тоже подняла свою, и Варвара увидела, как по поверхности чая прошла лёгкая рябь: рука дрожала. Потом, видимо, почувствовав на себе чужой взгляд, Лариса повернула голову, и на мгновение их глаза встретились. Варвара не отвела своих. Она не знала, что в них было, но Лариса, вероятно, увидела там что-то такое, чего не хотела видеть, потому что быстро отвернулась, поставила чашку и стала поправлять шарф, которого на ней не было.

Николай Андреевич сидел рядом и не сказал ни слова. Только поставил на стол чашку, медленно, с лёгким стуком, и этот стук, тихий, ровный, прозвучал в оранжерее как отметка, как короткий сигнал при смене вахты.

Разошлись в сумерках, когда лампы под потолком, зажжённые Ефимом, залили оранжерею тёплым золотистым светом, а стёкла за спинами сидящих стали синими и непрозрачными. Платон Георгиевич, откланявшись с обаятельным, чуть натянутым поклоном, ушёл первым, сославшись на звонок. Анна исчезла почти сразу вслед, сказав, что надо проверить почту, и по дороге на галерею опять достала телефон и приложила к уху. Герман задержался: сложил тетрадь, помялся, потом подошёл к Варваре и тихо сказал:

– Вы, если хотите, приходите рисовать. Лимоны. Они всегда в хорошем настроении.

– Приду, – сказала Варвара.

– Спасибо. – Он кивнул и пошёл вслед за Анной.

Лариса собирала свою корзинку долго, дольше, чем требовало дело, переставляя банку с мёдом из одного угла в другой, и в какой-то момент Варвара поймала на себе её быстрый, осторожный взгляд. Лариса улыбнулась, мягко, участливо, пожелала приятного вечера и ушла, не оглянувшись. Ефим проводил её до двери и вернулся к столу убирать посуду.

Ираида Львовна осталась сидеть во главе, прямая, с палкой между колен, и смотрела на пирог, который Ефим поставил перед ней на блюде. Холщовое полотенце лежало рядом, сложенное в аккуратный квадрат.

– Разрежьте, – сказала она.

Ефим нарезал. Один кусок положил на тарелку, поставил перед ней. Она взяла вилку, отломила краешек, поднесла ко рту, прожевала медленно, не торопясь, с закрытыми глазами. Варвара, уже поднявшаяся, чтобы уходить, остановилась, потому что в лице старухи происходило что-то, чего она не сумела бы описать: неподвижность сменялась чем-то мягким, глубоким, как будто кто-то там, внутри, зажёг лампу.

– Антоновка, – сказала Ираида Львовна. – Мелко нарезанная. С корицей, но без гвоздики. Карамель чуть пережжена. Всегда пережигала.

– Вы чувствуете вкус? – спросила Варвара.

– Я ничего не чувствую. Насморк.

– Тогда как...

– Я помню, – сказала Ираида Львовна. Она открыла глаза и посмотрела на неё прозрачными светлыми глазами, в которых не было ни слёз, ни улыбки, только очень ясная, очень старая память. – Передайте Эмилии. Скажите, что сирень была белая.

– Что?

– Она поймёт.

Варвара кивнула. Ничего больше сказать она не смогла. Николай Андреевич уже стоял у двери, с сумкой в руке, и Боцман, возникший у его ног, смотрел на неё жёлтыми глазами, и в них, как показалось Варваре, читалось то же, что в её собственной душе: «Не спрашивай».

– Благодарю за стекло, – сказала Ираида Львовна Николаю Андреевичу. – Приходите в среду.

– Зачем?

– Мне нужен человек, который ничего не хочет.

Она не пояснила. Только кивнула и взялась за вилку, и они вышли.

Шли молча. Сумерки сгустились быстро, как всегда в ноябре, и воздух стал сухой, холодный, прозрачный, с запахом дыма и мёрзлой земли. Над дорогой зажглись первые окна: жёлтые, тёплые, уютные, в них мелькали силуэты. На небе, над чёрной полосой леса, проступила тонкая зелёная полоска закатного света, и в ней, неяркая и очень чистая, висела первая звезда. Где-то совсем близко, за забором, хрустел на мёрзлой траве чей-то шаг.

– Нина Георгиевна, – сказал Николай Андреевич негромко.

– Что?

– За деревом. Слева.

Варвара чуть повернула голову. В тени у столба, под старой липой, стояла маленькая фигурка в сиреневом пальто и шляпе с пером, и на неё из темноты блеснули стёкла лорнета.

– Гуляю, – объявила Нина Георгиевна, не двигаясь с места. – Вечерний воздух. Для голоса.

– Для голоса полезно, – сказал Николай Андреевич.

– Вот именно!

Они прошли мимо, и Варвара, почувствовав, как у неё дрожат плечи, зажала рот ладонью. Николай Андреевич шёл рядом, глядя прямо перед собой, но по углу его губ она догадалась, что и он держится из последних сил.

Когда они отошли метров на тридцать, она сказала:

– Лариса.

– Да.

– Ты видел?

– Видел.

– Она боялась. Когда Ираида Львовна сказала про среду. Это был такой страх, Николай. Я никогда не видела, чтобы человек так быстро прятал лицо.

– Не она одна, – сказал он.

– Что?

– Платон дёрнул плечом, когда она сказала про вазу. Анна уронила ложку. Герман сломал карандаш. – Он помолчал. – А Ефим не шелохнулся.

– Это ничего не значит.

– Это значит, что он знает больше остальных.

– Или ничего не боится.

– Или так.

Они дошли до калитки. На веранде горел свет, и сквозь цветные стёкла верхних рам на дорожку падали красные, синие, жёлтые квадраты. Варвара остановилась, не открывая калитки.

– Среда, – сказала она.

– Среда.

– Мне это не нравится.

– Мне тоже.

– Тётя говорила, что Ираида ничего не говорит просто так.

– Тётя права.

Он тихо поставил сумку на землю, и в вечернем свете она увидела его лицо: спокойное, серьёзное, чуть усталое, с лёгкой тенью у глаз. Боцман сел между ними на дорожку, обернул хвост вокруг лап и с любопытством посмотрел на обоих. Варвара вдруг подумала, что за последние два дня она в первый раз не чувствует себя неловко рядом с этим человеком: ни на кухне, ни у печки, ни в оранжерее, ни здесь, в густеющей темноте. И это было так странно и так хорошо, что она не знала, что с этим делать.

– Пойдём, – сказал он. – Замёрзнешь.

В кухне горела единственная лампа под зелёным абажуром. Эмилия Карловна сидела за столом, прямая, с мундштуком, в мужской кофте, и перед ней стояла пустая чашка. Бемоль спал у её ног. Фуга, свесив лапу с холодильника, наблюдала за дверью. Тётя повернула голову и посмотрела на Варвару. Потом на Николая Андреевича. Потом снова на Варвару.

Она не спросила. Не сказала ни слова, только подняла брови и вынула сигарету из мундштука, и Варвара поняла, что в эти секунды тётя не курит, а ждёт.

– Она съела кусок, – сказала Варвара. – Сказала, что антоновка. Мелко нарезанная, с корицей, без гвоздики. Карамель пережжена.

Эмилия Карловна не шевельнулась.

– Она сказала: «Всегда пережигала».

– Что ещё?

– Она просила передать... – Варвара запнулась. – Она сказала: «Скажите, что сирень была белая».

Тётя сидела очень прямо, с сигаретой, застывшей на полпути. Бемоль во сне вздохнул. Часы в гостиной тикнули, раз, два, и жестяная птица вывалилась из дверцы и промолчала, потому что стрелки ещё не дошли до положенного часа. Эмилия Карловна медленно, как человек, которого застали врасплох, положила сигарету на край блюдца и опустила руки на колени. Лицо у неё осталось неподвижным, но что-то в нём изменилось, как меняется поверхность воды, когда в глубине проходит большая рыба.

– Белая, – сказала она наконец очень тихо. – Я так и знала.

И, не прибавив ни слова, встала, подошла к окну, повернулась к ним спиной и несколько минут просто стояла, глядя в темноту, где, за оврагом, за садом, за соснами, под золотым стеклянным колпаком горел ровный свет лимонных ламп.

Глава 4

Николай Андреевич уехал в понедельник в шесть утра. Варвара слышала сквозь сон, как во дворе хрипло завелась «Нива», как Бемоль отметил это событие тремя короткими лаями и одним длинным, обиженным, и повернулась на другой бок с ощущением, что кто-то деликатно прикрыл за собой дверь. Когда она спустилась в восьмом часу, на кухонном столе, под фарфоровой чашкой с розочками, лежал листок из блокнота в клетку, исписанный знакомым мелким прямым почерком.

«Уехал на отстой, надо принять воду и проверить швартовы. Вернусь во вторник к вечеру. Кот остаётся, он так решил. Н. Р.»

Кот, о котором шла речь, сидел на табуретке у окна, на той самой, где вчера утром Николай Андреевич учился держать чашку за ручку, и смотрел на записку так, как будто сам её диктовал и теперь проверяет, всё ли передано верно. Рядом, на подоконнике, умывалась Фуга. Они сидели в полуметре друг от друга и делали вид, что другого не существует, и по этой нарочитости было понятно, что мир заключён, хотя и без подписания бумаг.

– Он написал «швартовы», – сказала Варвара. – У нас дача, ноябрь, овраг, а у него швартовы.

– В его положении это нормально, – ответила Эмилия Карловна.

Она стояла у плиты в серой кофте и мешала кашу. Ничего особенного в этом не было бы, если бы мешала она её минут пять, а не, судя по комкам на дне кастрюли, минут сорок. Спина у неё была прямая, голова чуть склонена к плечу, и со вчерашнего вечера, с той секунды, как ей передали про белую сирень, она почти не говорила. «Спокойной ночи». «Печку подкинь». «Бемоль, не смей». Ужинать не стала. Ушла к себе, и Варвара ещё долго слышала через стенку, как скрипят пружины, потом стихают, потом скрипят снова, и по этому скрипу было ясно, что человек не спит и не хочет, чтобы об этом знали.

Когда часы в гостиной отбили восемь и жестяная птица выкатилась из дверцы, тётя поставила кастрюлю на стол, достала мундштук, прикурила от конфорки и сказала «доброе утро». Ровно в восемь ноль одну, с той же точностью, с какой отмеряла яд на аптекарских весах человек, у которого нет права на ошибку.

– Тётя, – сказала Варвара. – Что значит сирень?

– Это значит, что мне надо подумать.

– О чём?

– О том, что я тридцать лет считала её белой. – Эмилия Карловна выпустила дым в потолок. – Я говорила: белая. Ираида говорила: лиловая. Мы поссорились именно из-за этого, и всё остальное, Шопен, очерёдность, афиши, было потом, для приличия. И вот приходит человек и говорит, что сирень была белая. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что я права. Я к этому не приучена.

– Ты шутишь.

– Я не шучу. Я излагаю. – Она посмотрела на Варвару долгим взглядом, и в нём, под обычной сухой иронией, лежало что-то другое, трудное, как камень на дне. – Видишь ли, милая. Люди, которые тридцать лет не уступали ни пяди, уступают в двух случаях. Когда влюбились. И когда собираются умирать. Влюбляться Ираиде поздно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.